

Почерк Леонардо

Автор:

Дина Рубина

Почерк Леонардо

Дина Ильинична Рубина

Она пишет зеркальным почерком, от которого у непосвященных кружится голова. У нее блестящие способности к математике и физике, она гениальная циркачка, невероятный каскадер, она знает о зеркалах все, что можно о них знать. Она умеет видеть прошлое и прозревать будущее. Киев, Москва, Франкфурт, Индиана-полис, Монреаль – она летит по жизни, неприкаянная и несвободная, видит больше, чем обычный человек способен вообразить, – и ненавидит за это себя и того, кто наделил ее такой способностью.

Новый мистический роман Дины Рубиной «Почерк Леонардо» – история человека, который не хотел быть демиургом. История женщины, которая с великолепной безгливостью отвергает дар небес.

Дина Рубина

Почерк Леонардо

Лине Никольской – воздушному канатоходцу

И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до восхода зари.

Бытие 32:25-26

Итак, пусть никто не ожидает, что мы будем что-либо говорить об ангелах.[1 - Пер. В. Соколова.]

Бенедикт Спиноза. О человеческой душе

Часть первая

Леворукость имеет атавистический и дегенеративный характер... Нередко встречается у сумасшедших, преступников и, наконец, у гениев.[2 - Пер. К. Щербино.]

Чезаре Ломброзо

1

Звонок был настырным, долгим, как паровозный гудок: межгород.

Телефон стоял в прихожей под большим овальным зеркалом, и когда звонила мужнина родня, Маше казалось, что зеркало сотрясается, как от проходящего поезда, и вот-вот упадет.

Казенный плоский голос: ждите, Мариуполь на проводе. По голосам их, что ли, на работу принимают?

Звонила Тамара, двоюродная сестра мужа.

Обычно она поздравляла с Новым годом или сообщала о смерти очередной тетки – у Анатолия в Мариуполе был целый хоровод престарелой родни.

Маша хотела сразу же передать ему трубку, но Тамара сказала:

– Постой-ка, Маш, я ведь именно что к тебе...

И смущенной скороговоркой сообщила, что после неудачной операции аппендицита в Ейске померла племянница тети Лиды. Вот.

– Это какой же тети Лиды?

– Да видала ты ее, и племянницу видала на моей свадьбе. Тетя Лида-покойница, она не нам приходится родней, а со стороны...

Ну, пошло-поехало... Короче, с той, другой стороны, не мариупольской, а ейской.

Маша давно уже оставила многолетние попытки запомнить все родственные связи изобильной мужниной родни.

– ...и, слышь, племянница-то померла, но от нее осталась девчоночка трех лет.

– Ну и что?

А то, явно волнуясь, торопливо рассказывала Тамара, что эту девочку никто из ихней родни брать не хочет, хотя родня очень даже зажиточная: двоюродная сестра покойницы сама зубной техник, дом – полная чаша...

Живые с покойниками в той родне дружно шагали рука об руку из рода в род, весело перекликаясь и переругиваясь, допоривая, допевая песню и допивая шкалик.

Странно, что никто из той родни так-таки и не хочет взять этого ребенка.

Маша стиснула зубы. Не горячись, сказала она себе, никто не собирался тебя обидеть, никому дела нет до твоей боли.

– Томка... – наконец сказала она спокойно. – Ты мне все это зачем говоришь?

Та замялась. В трубке шумел равнодушный прибой чьих-то гулких голосов, и Маша вдруг поняла, что ради этого разговора Тамара явилась на телеграф, выстояла очередь к кабине...

– Ну, может, вы подумаете, Маш... – словно бы извиняясь, проговорила та. – Все же у вас детей нет, может, это шанс? Как ни крути, а тебе уже... тридцать шесть?

– Тридцать четыре, – оборвала Маша. – И я надежды не теряю. Я лечусь.

– Ну, как знаешь... – Тамара сразу сникла, потеряла интерес к разговору. – Так ты и телефона не запишешь, бабы этой, дантистки? На всякий случай?

И Маша зачем-то записала, чтобы не обижать Томку, – ведь хорошего хочет, дурында этакая.

Все у них просто, у этих мариупольских коров с полными выменами...

Она опустила трубку и подняла голову. Из овального, в резной черной раме зеркала на нее внимательно смотрела еще молодая женщина с подвижным, усыпанным обаятельной веснушчатой крупкой лицом. За спиной у нее, в проеме открытой в спальню двери виден был отдыхающий после дежурства муж. Его босая ступня покачивалась маятником в такт то ли мыслям, то ли мотивчику, напеваемому беззвучно. Лицо заслонено ставнем раскрытой книжки, название и автор опрокинуты в зеркалье – прочесть невозможно.

Далее перспектива зеркала являла окно, где тревожно металась на ветру усыпанная белыми «свечками» крона киевского каштана. А выше и глубже поднималась голубизна небесной пустоты, то есть отражение сливалось со своим производным, истаивало в небытии...

Вдруг ее испугало это.

Что? – спросила она себя, прислушиваясь к невнятному, но очень острому страху. Что со мной? Этот страх перед услужливо распахнутой бездной – почему он связан с привычным отражением в домашнем зеркале?

Всю ночь Маша не спала, дважды поднималась накапать себе валерьянки. Толя молчал, хотя она слышала, что и он ворочался до рассвета.

Ровно год назад у них после многолетних медицинских мытарств родился крупный, красивый мертвый мальчик.

Наутро после разговора с Мариуполем Маша дождалась, когда за мужем захлопнется входная дверь, и набрала номер телефона этой странной женщины, которая не могла или не хотела пригреть племянницу-сиротку.

И все сложилось: и дозвонилась быстро, и женщина оказалась на месте, и слышно было фантастически ясно. И разговор произошел мгновенный, отрывистый и исчерпывающий, словно судьба торопилась пролистнуть страницу с незначительным текстом.

Выслушав первую же Машину фразу, та сказала:

– Вы эту девочку не возьмете. Она невообразимо худая.

– Что это значит? – спросила Маша. – Она больна?

– Говорю вам, вы эту девочку не возьмете. Вы просто испугаетесь.

– А... где она сейчас? Кто за ней смотрит?

– Там соседка душевная, с покойной Ритой дружила. Она хлопчет насчет... определить девочку... в учреждение.

– Адрес! – тяжело дыша, сказала Маша. Та продиктовала.

Маша молча опустила трубку.

Днем Толя позвонил из госпиталя, сказал, что есть два билета на Райкина, – пойдём?

– Что-то не хочется...

И весь вечер была сама не своя. Зачем-то села перебирать документы. Тихо сидела, задумчиво, как пасьянс, раскладывая аттестаты зрелости, дипломы, свидетельство о браке. Письма, которые писал ей Толя еще студентом Военной медицинской академии.

Перед сном он вышел из ванной, посмотрел на жену, зябко ссутуленную над цветными картонками документов, подобравшую под стул ноги в мягких тапочках. Маша подняла голову, улыбнулась виновато.

Он вздохнул и сказал:

– Ну, поезжай, разберись... Тебе ее воспитывать.

* * *

До Ейска Маша добралась на поезде удобно, с одной всего пересадкой, но когда разыскала нужный адрес по Шоссейной улице, оказалось, что девочка уехала с детским домом на летнюю дачу.

Пристроила ее та самая душевная соседка Шура, она из года в год работала хлеборезчицей на летних детдомовских дачах. Да ты сама посуди: неуж не выгодно: и харчи казенные, и воздух морской, и получка цельная остается. Все это Маша выяснила за десять минут у двух старух, словоохотливых обительниц вечной околоподъездной лавочки.

– Шура-то прям извелася вся, испереживалася: не есть ребенок, хоть ты тресни, будто ее на ключ замкнули. Може, там, с детьми отойдет? А то как бы не истаяла вовсе...

– А что отец, – спросила Маша. – Он вообще имеет место?

– О-он? Он место име-е-еть... – подхватила старуха. – На нарах он место имеет, добре место. Плацкарту бесплатну.

И вторая раскудаhtалась над этой шуткой и долго, вздохнув, смеялась, отирая ладонью рот и повторяя:

– Эт точно, на нарах он место имеет, эт точно!

Маша добралась до автовокзала и купила билет, как соседки научили: до станицы Должанской.

...Летняя дача детского дома размещалась в четырехэтажном корпусе бывшего санатория то ли металлургической, то ли текстильной промышленности. Года четыре уже как здание передали Минздраву, и после ремонта перевели туда детский санаторий. Так что сюда привозят детей с церебральным параличом. И, знаете, неплохо подлечивают. А один из корпусов сдают детским домам под дачу.

Попутно с этими сведениями Маше пришлось выслушать некоторые факты биографии представительного дяденьки в полосатой пижаме. Мои жизнь и борьба в сборочном цеху тракторного завода.

Он причалил невзначай, пока она гуляла, пережидая тихий час, – вернее, металась вдоль каменного парапета набережной, – и все толкся и толкся рядом, не чуя тяжелого ее волнения.

Началось с того, что она никак не могла разыскать Шуру, душевную соседку, – ту самую, что пристроила ребенка на дачу. Машу посылали с одного этажа на другой, и повсюду Шуру «вот только что видели», потом – «за продуктами, видать, уехала...», пока одна из раздатчиц в пустой столовой, с подробным интересом изучив Машу с головы до босоножек, не сказала:

– А Шура, это... ваще...

– Что – вообще?

– Так это... отгулы она взяла. Зубы драть. Кроме того, директриса, с которой только и можно было говорить о девочке, отлучилась утром в Ейск и вернуться должна была к четверем.

Маша вышла к набережной, залитой июньским солнцем.

Длинные белые пляжи благодатной косы были пересыпаны курортниками в цветных купальных костюмах. Во влажном, еще не выкаленном солнцем воздухе всплескивали звонкие выкрики и шлепки волейболистов: ребята играли поверх дырявой провисшей сетки. Кто-то из игроков с тупым стуком послал в воду такой мощный крученный мяч, что загорелая девушка в синем купальнике восторженно завизжала и бросилась за ним... Несколько бесконечных секунд мяч стоял в небе, вращаясь посреди барашковой зыби голубоватых облаков, и бесконечно долго, увязая в песке, бежала к нему девушка... пока он не стал обреченно падать, падать, убился о мокрый песок в шаге от воды, мертво качнулся туда-сюда и замер.

Неподалеку от Маши группка мужчин и мальчишек сгрудилась над кем-то, кто сидел на дощатом ящике из-под пива, быстро передвигая что-то руками на доске, положенной на другой такой же ящик. Издали можно было принять их за филателистов, если б не странное излучение опасности и азарта, исходящее от всей компании.

На две-три секунды над головами их воцарялась враждебная тишина, которая взрывалась огорченным матом, смехом, угрозами. Тогда на мгновение компания распадалась, открывая рыжие вихры сидящего и юркие озорные руки, будто готовые броситься наутек. И опять грозно смыкалась над ним.

Какая-то игра, подумала Маша, наверняка азартная. И значит – мошенничество, проигрыш, отчаянье, месть...

В прозрачной ультрамариновой толще с двумя ярко-красными заплатами надувных матрацев ослепительными искрами вспыхивало солнце. Дымчатое небо опускалось на горизонт нежной опаловой линзой. Сфера небесная и сфера морская двумя гигантскими зеркалами отражались друг в друге до самозабвенной обоюдо-бездонной голубизны.

Почему, почему от этих мерно бегущих к берегу волн, от ленивых тел на цветастых подстилках, от акварельно-чистой линии горизонта ее охватывает такая обреченная тоска, словно уже и деться некуда? Словно вот-вот захлопнется ловушка? Ведь никто и ничто не может заставить ее...

– ...и я уж тогда прямиком в народный контроль, – возбуждаясь от собственного рассказа, бубнил дядька. – Та что ж это у вас, товарищи, в цехах творится!

– Извините! – глухо проговорила Маша. – Я... мне нужно идти.

Повернулась и пошла.

Резкий окрик, остервенелая ругань, стук перевернутой доски за спиной, – и вот уже рыжий обогнал Машу, улепетывая вдаль по набережной, трепеща на ветру синими сатиновыми бриджами.

Двое пацанов бежали за ним, высвистывая и выкрикивая что-то вслед...

* * *

– Взглянуть вы, конечно, можете... – сказала рослая и плечистая директриса (просто гренадер какой-то! – сколько же материи ушло на ее белый халат?). – Взглянуть – это пожалуйста.

Разговор происходил в длинной проходной комнате, похожей на просторный коридор, с двух сторон запертый стеклянными дверьми. Это была и весовая и приемная – даже массажный стол тут стоял.

– Только не считайте нас мучителями. Она ведь, собственно, не наша. Она пока непонятно чья. Сядьте вот здесь. Возьмите книжку, вроде как читаете. И не реагируйте особо. Я имею в виду – ничем не выдайте своего... Словом, не охайте! Держите себя в руках.

Минут двадцать Маша сидела в кресле, тщетно пытаясь унять дрожащее сердце, уставясь в открытую книгу – ей сунули какое-то медицинское пособие по лечебной гимнастике при церебральном параличе.

Рядом орудовала шваброй бойкая бабка – словно клюшкой загоняла шайбы под столы и кушетки. Она и сама была как огромная шайба – круглая, перекастистая: успевала и тряпку отжать и переброситься оживленным замечанием с медсестрой.

Та говорила с характерным прибалтийским акцентом:

– ...Ну не помню я их лиц, не помню! Я фсех деттей по рукам-нокам знаю. Они же каждый готт у меня электрофорез проходят. Я как увиттала эту ношшку со шрамом на колени, так сразу узнала – это же Игорекк! Здравствуй, Игорекк, как ты фырос! Ты мне его фнешность не описывай, скажи – какого цвета у него трусы...

Открывались и вновь закрывались стеклянные двери. Маша каждый раз внутренне съеживалась. Дважды прошмыгивали какие-то девицы в белых мини-халатах, по последней моде. Снова открылась дверь.

Маша подняла голову и чуть не застонала: плеснуло в сердце и отхлынуло, оставив ледяной ожог.

Скелетик в трусиках. Таких скелетиков за колючей проволокой Бухенвальда она видела однажды в документальном фильме, перед сеансом в кино. Закрыла, помнится, глаза и головой привалилась к Толиному плечу.

Непонятно, как этот ребенок, чей пупырчатый стебелек позвоночника просвечивал сквозь покров кожи, стоял, передвигался... вообще держался на ногах! А уж рядом с огромной директрисой девочка выглядела комариком, которого можно дыханием сдуть.

Маша внутри вся обмякла и уткнулась в книгу. Перед взором не страница плыла, а огромные зеленые глаза скелетика и копна рыжевато-каштановых кудрей.

– Ну-у-у, – протянула басом директриса, – пойдем-пойдем, Аня-Анюта, ножками-ножками... – и, проводя девочку мимо: – Поздоровайся с тетей.

Не подняв головы, не в силах улыбнуться, двинуться, Маша услышала сухой шепоток:

– ...Дрась...

Когда за ними закрылась дверь, Маша поднялась – книга упала с колен – и с силой проговорила:

– Что происходит?! Как можно было довести ребенка до такого состояния?! Сколько она весит? Ведь это дистрофия, вы понимаете?!

– Этто фы кому? – в замешательстве спросила прибалтийка. – Нам? У нас этта деффочка тней пять... Вы к ней каккое имеетте отношение?

Маша бросилась вон из приемной.

* * *

Наутро она стояла за стеклянной дверью санаторной столовой, пытаясь высмотреть копну каштановых кудрей, которых здесь было много. Не видела ничего, в глазах мутилось. (По курортной поре не удалось вчера снять комнату, и ночь Маша провела в зале ожидания железнодорожной станции.) Воображала всякие ужасы: что, например, девочка умерла от истощения нынче ночью.

Потом спустилась на первый этаж к закрытому кабинету директрисы. Дождалась, когда в конце коридора появится гренадерская фигура в белом халате, преградила ей дорогу и проговорила с безысходной решимостью:

– Я возьму этого ребенка. Научите, как пройти формальности.

Затем часа полтора они сидели в кабинете, и Маша под диктовку по пунктам записывала все девять кругов ада, которые намеревалась в рекордный срок обежать со всеми документами.

Она всё не могла опомниться, застенчиво пыталась оставить на столе деньги, сунуть их в карман необъятного директорского халата, заложить между страниц какой-то учетной тетради в картонной обложке, то и дело хватая увесистую рабочую руку этой женщины и умоляюще бормоча:

– Только бы кто посидел с ней, покормил, пожалуйста, хоть несколько ложек, но чаще, пожалуйста! – пока директриса резко не отчитала ее и обе они не расплакались, за что-то друг друга благодаря.

Душевная соседка Шура, которую Маша безуспешно разыскивала, все это время стояла за приоткрытой дверью директорского кабинета и, обмирая, слушала.

Когда стало ясно, что дело сладилось и эта не такая уж и молодая женщина захлопнула за собой все ходы и выходы, Шура крепко зажмурилась, с силой открыла глаза, уставясь на голубой квадрат окна в дальнем конце коридора, и вдруг с жаром неловко перекрестилась. Вдруг Шура поняла, что ошиблась в направлении, и похолодела: да не так, а так! Трижды сплюнула через левое плечо и столь же истовым замахом положила на широкую грудь крест правильный.

Она боялась скрипнуть паркетинной, кашлянуть. Боялась, что дело сорвется и девочку не увезут.

Но пуще всего – пуще смерти своей – она боялась самой девочки.

2

...А хочешь, свет мой, зеркальце, расскажу тебе грустную историю поруганной любви?

Не смейся, это настоящая любовь между миссис Кларксон, моей здешней хозяйкой, и диким гусем, что однажды упал к ней на лужайку.

Я готов исписать сейчас много страниц, потому что взволнован: последний акт драмы разыгрался вчера на моих глазах. Вернее, я сидел в своем сарае, который они величают флигелем, и дерут с меня приличные деньги, и делал вид, что репетирую это супервиртуозное место в финале Четвертой симфонии Бетховена, где фагот должен прострекотать и закончить за кларнетом. А еще во второй части – сложный и пикантный флирт на пуантах тридцатидвухпунктирного ритма, что полностью опровергает слова незабвенного моего учителя Николай Кузьмича: «Фагот, пацан, – инструмент меланхолический...»

Но Шехерезада продолжает дозволенные речи.

Значит, года три назад роскошный белоснежный гусь упал на лужайку заднего двора, где у них гараж для трактора, сенокосилки, садовых инструментов и прочего барахла.

Время от времени семейство Кларксон использует эту постройку для очередного «гараж-сэйла» – рассказывал ли я тебе, что в прошлом году купил у них за доллар чашку северского фарфора позапрошлого века? Ручка была отбита и безобразно прилеплена чуть не пластилином. Я отпарил, разъял, связал нежнейшим спецклеем, надышал, облизал... и она стоит у меня на полке, сверкая почти нетронутым золотым ободком по голубому полю... При нашей с тобой бездомности моя страсть к антиквариату выглядит идиотизмом.

Сейчас мне вдруг пришло в голову, что неуголенной любовью к изяществу настоящего фарфора я обязан деду. У него за стеклом буфета лежала с видом послеохотничьего изнеможения фарфоровая собака шоколадного цвета. Довоенная. Знаешь, почему? Штамп – знаменитый штамп ЛФЗ споднизу на брюхе – у нее был зеленым. После войны ставили уже фиолетовые. А еще было такое блюдо белое, с пионерами по ободку. Мальчик и девочка: мальчик в горн трубит, девочка в галстук с рукой-дощечкой, перечеркнувшей лоб. Дед уверял – двадцатые годы. Я спрашивал: разве в двадцатых пионеры были? Он говорил: н у, тридцатые...

Ох, прости болтуна! Сам я был пионером, был. Точно помню.

Совершаем немыслимую дугу: из Жмеринки пятьдесят второго в штат Канзас девяносто восьмого года. Век, правда, все тот же – вполне омерзительный, угасающий во мраке и позоре.

Итак, гусь: отстал от своих, притомился... потом выяснилось, что у него повреждено крыло.

Миссис Кларксон отбила его у соседских псов, выходила, вынянчила, и все лето он бегал за ней по пятам, как собака. Всем друзьям она рассылала фотографии, даже в местной газетенке появилась заметка с фото: «Миссис Кларксон со своим питомцем».

Осенью он благополучно отбыл по птичьей своей прописке.

Следующей весной прилетел с парой.

Гуси разгуливали по двору, словно домой вернулись, и видно было, как он с гордостью демонстрирует подруге свои владения. Точно как я впервые водил тебя по Рюдесхайму.

Помнишь нашу комнату в рюдесхаймском замке? А «ледяное вино» в каменном подвале? А пьяных болельщиков местной футбольной команды, горланивших народные песни? А железную ладью канатной дороги в тумане, откуда навстречу нам выплыл смешной лупоглазый альбинос в рыжей тироляке – тот, что (странно!) так тебя напугал?

Но гуси: следующим летом их прилетела целая колония. Они заняли весь двор, никому не давали пройти, шипели и гонялись за нарушителями границ, – считали своей территорией. Все вокруг загадили пометом. Студентка дочь прилетела с бойфрендом на каникулы и, укушенная гусыней, улетела на следующий день. Сын вообще раздумал приезжать. Измученная миссис Кларксон еле дотянула до осени и, надо полагать, заказала благодарственный молебен в своей церкви, славя милосердного Господа в честь сезонного освобождения. (Она вообще очень набожна; в гостиной висит портрет ее прадеда с трогательной надписью по низу полотна: «Межи мои благочинны, и стезя моя послушна мне».)

Нынешней весной она уповала уже не на высшие силы, а на себя, и к романтической поре птичьих перелетов готовилась загодя. Наняла в питомнике соседней фермы двух волкодавов, которые, заведя огромный белый шатер опускавшейся на двор гусиной стаи, сорвались, как торпеды, и, яростно дрожа, гоняли бедных птиц до самого вечера, не давая приземлиться.

Гуси металась над лужайкой, как порывы белой метели, снежная буря висела на головой и шипела, и клокотала... Надо было видеть это сражение! Воздух дрожал от гула: обескураженные, разгневанные крики гусей, визг и захлеб охотничьего лая и рыка!

А из окна кухни на битву глядела, глотая слезы, госпожа Кларксон.

Что-то было не так в ее ухоженном упорядоченном мире. Что-то надломилось.

Даже мне стало не по себе, и не только потому, что невозможно в фагот дудеть, когда воздух вокруг вибрирует в страшной какофонии. Просто грустная эта

история почему-то напомнила мне – угадай, что и кого?

Странная штука наше воображение, и еще более странная – память наша.

Отчего люди в американской глубинке часто напоминают мне гурьевских соседей? Отчего это? Ведь тут – благодать и комфорт в каждой кнопке, а там, в городе моего детства, – песчаные бури, тяжелая мутная река Урал, степь да степь кругом, жирная грязь, карагачи, джида, бедные палисады под окнами. Были еще огороды у реки, где народ сажал картошку (так и говорили: «едем на огород!») – и где буйно рос паслен, по-нашему – «вороняшка».

Да знаешь ли ты, что такое «вороняшка»? Это сорняк такой, мелкие кустики с черными, приторно-сладкими ягодами. Растение помойное, приличным людям, говорила мама, есть его нельзя. Но я, после гибели отца мгновенно ставший беспризорником, убежал к соседям Солодовым есть любимые пирожки с «вороняшкой». (Их жарили на хлопковом масле, подсолнечное берегли.) Солодовы меня жалели: так и не раскрытое убийство моего отца, главного инженера гурьевского нефтеперерабатывающего завода, многие годы будоражило всех соседей и бросало жалостливый отсвет на сироту.

Солодовы потчевали меня пирожками с «вороняшкой» от пуза.

Семейство было забавным: заполошным, сложно-составным, горластым, драчливым – каждый со своим особым характером, даже самые мелкие дети. Я дружил со средним, Генкой – вруном, разбойником и прохвостом. Сейчас он монах в Валаамском монастыре, что всегда славился своим строжайшим уставом, и я не вижу тут никакого противоречия.

Папка их, дядя Вася, родом из какой-то мордовской деревни, был большим партийным начальником. Мужик башковитый и честный, он крепко выпивал. И тогда гонял все семейство. Жене кричал: «Лёлька, дура ты набитая, в высшей степени!» В детей метал костылем, как пират Сильвер, и всегда попадал. Одноногий, одержимый во всем, он решил насадить вокруг дома настоящий фруктовый сад, и каждый день с редкостным упорством претворял мечту в жизнь: вытаскивал в сад лопату, стул, садился на него, и единственной ногой копал яму под очередное фруктовое дерево. Посадил сорок семь плодовых деревьев! Тебе, дитю благодатной украинской почвы, этого подвига не понять.

Дядя Вася его совершил.

Женат он был на тете Лёле, дочери врага народа. Этого поступка осознать и оценить ты уже, слава богу, не можешь, да и не надо.

В молодости, со своей золотой косой, с нестерпимо синими глазами, тетя Лёля была такой красавицей, что партийный выдвиженец дядя Вася забыл про ум, честь и совесть нашей эпохи и взял ее со всем выводком младших братьев и сестер. А также со старой матерью, о которой надо бы рассказать отдельно и опасно. Капитолиной Тимофеевной ее звали, – сухонькая твердая старушка чуть не дворянских кровей. Это с одной стороны. С другой стороны, между детьми и внуками считалось, что она неграмотная. Это противоречие в нашем детстве странным не казалось, мы о нем просто не думали. А сейчас я уверен, что внезапная неграмотность настигла Капитолину Тимофеевну тогда, когда трое старших ее, взрослых детей – после расстрела отца, – отказались от матери через газету, и она с тремя младшими осталась на улице. Сыграло ли в этом роль особое отвращение к советскому печатному слову, или то был обычный страх... сейчас уже кто ответит?

Была она строга, и если что не по ней – молча вцеплялась в волосы и таскала жертву по всему дому. Обшивала – неистовая труженица – всю семью. Все умела – брюки, пальто, какие-то полотна-гобелены с портретом Пушкина (довольно похожим, но слишком изысканным по цветовой гамме: темно-зеленые водоросли бакенбард – все шелковое мулине, – вдоль изможденных щек цвета какао).

Так вот, дядя Вася, вообрази, не побоялся взвалить на себя весь этот опасный выводок. Причем, с суровой тещей сражался всю жизнь, а когда она умерла, оплакивал ее настоящими слезами, запил даже, головой о стенку бился: другой такой, говорил, больше не найду.

Иногда, заигравшись до слипания век, я оставался ночевать у них на кушетке в большой комнате – хотя вполне мог перебежать дорогу до своего дома. Но мама после гибели отца так и не очнулась, ее оглушила странная тягучая задумчивость о своей доле. Возвратясь с работы в холодный неприбранный дом, она валилась на диван и лежала часами, вяло грызя яблоки из тех, что каждый год привозил из Жмеринки дед. Вяло глядела в окно и почти со мной не разговаривала. В наши дни это назвали бы тяжелой депрессией и месяца за три вылечили бы, а тогда все соседки осуждали ее за нерадивость и считали плохой матерью.

Так что время от времени я оставался у Солодовых на ночь.

Вспоминаю свои пробуждения под гимн Советского Союза из радиоточки...

Сквозь сон едва приоткрыв глаза, я видел простоволосую тетю Лёлю. Как бессловесная жертва, что мягким горлом ожидает лезвия ножа, она – дородная, по-утреннему истомная, в байковом лиловом халате – сидела на стуле, откинув голову: агнец в ожидании стрижки золотого руна. Позади нее стояла маленькая бабушка Капитолина Тимофеевна и широкими замахами разгребала эти невероятные Самсоновы волосы. Сначала месила их руками, борозды взрыхляла, проводила глубокие рвы. Затем гребнем натуральным, десятипалым, отделяла, разбрасывала, перекладывала на стороны. И, наконец, плела, крутила жгуты, косу вылепляла, скульптурную косу. По завершении тяжких этих работ широким замахом водружала дочери на плечо лоснистого золотого удава.

Я с замиранием сердца следил сквозь полусмеженные веки за этой церемонией. Почему-то мне, мальцу, она казалась таинством интимного свойства.

Годы спустя, пробуждаясь рядом с какой-нибудь женщиной, я убеждался: все, что связано с волосами, у женщины полно непостижимой тайны.

Однако и разболтался же я.

Плохо представляю, когда к тебе попадет это письмо, и уж конечно не надеюсь, что ответишь. Во всяком случае, твое молчание предпочитаю твоим инопланетным зеркальным письмам, что всегда накрывают меня каким-то гулким метельным ужасом. Когда же мы свидимся?

До октября у меня контракт с оркестром в Де-Мойне. Отсюда ездить далековато, но я прижился в этом заштатном сонном городке, что существует только на областной карте. Липы здесь невероятной благости, да и лень переезжать. На репетиции езжу на машине или, если охота поспать в пути, на автобусе – два часа, остановка в Канзас-Сити.

А тут, дитя мое, на Среднем Западе, публика самая захолустная. Особенно автобусная, неимущая. Вот тебе вчерашняя картинка. Черный бродяга: дикий конский глаз, великолепный густой баритон, влажный, хрипатый, безадресный

смех в обрамлении крупных белых зубов. Прикид безобразный – драные джинсы, линялая клетчатая рубаша поверх засаленной водолазки эпохи семидесятых, бурые кроссовки.

И все два часа он, не умолкая, говорит на этом их, знаешь, черном диалекте, который и понять-то невозможно. Говорит пылко, дружелюбно, в пространство, словно обращается к невидимому собеседнику. Остальные пассажиры сидят, уставившись в окна, заткнув уши наушниками плееров.

А на короткой остановке, разминаясь после долгого сидения, он упоенно танцевал на тротуаре под никому не слышную музыку: с бумажным стаканчиком кофе в одной руке и зажженной сигаретой в другой. Голова как на шарнирах, плечи, руки, бедра и колени одновременно кругообразно вращались, будто снова и снова он тщетно стремился обнять, обхватить кого-то невидимого...

А когда я обниму тебя, скажи на милость?

Местный оркестр с его мелкими сварами мне надоел, и после октября я контракт возобновлять не стану, подамся куда-нибудь поближе к тебе. Профессор Мятлицкий уговаривает переехать к нему в Бостон. Представь, в его полных девяносто он строит планы гастролей и мастер-классов лет этак на десять вперед. «Саймон, не будьте идиотом, – говорит он. (Мое имя Профессор произносит на здешний лад, и мне это даже нравится, есть нечто аристократическое в этом „Саймон“. Не то что плебейское „Сеня“, которое всю жизнь сопровождает меня дурашливой припрыжкой.) – Что вам в тощей Европе, Саймон, – медом намазано?»

Намазано, отвечаю я, и каким медом! Так что скоро примусь тебя разыскивать – выгляни, пожалуйста, дай знак.

Где ты сейчас, моя зеркальная девочка? Во Франкфурте? В Монреале? В Берлине? Что за фокусы-флиртровки с миром за гранью бытия сочиняешь? «Огненное кольцо»? Ящики с исчезновением влюбленных? Зеркальные шары с летающими головами?

Кто смотрится в тебя, моя радость, кто в тебе отражается?

Эти вопросы считай риторическими. Надеюсь, ты не хранишь мне верность? К черту верность тела!

Только возвращайся ко мне время от времени.

Только возвращайся, бога ради...

З

– Старый лабух Сеня, вот кто ее до чертиков любил. Да и она вроде его любила. Ну... если и не любила, все же была привязана. Он ей письма писал куда-то «до востребования» – была в нем такая старомодная церемонность. Никогда не знал, дошло письмо или нет, – она ведь не отвечала или писала записку в несколько слов этой своей абракадаброй, так что откроешь письмо, стоишь как идиот, вертишь листок и так и сяк, вверх ногами переворачиваешь, а все никак не поймешь – что это. Как шифр какой-нибудь шпионский! И такая досада, такая злость возьмет! – так и смахнул бы с листа эти узоры, как вот паутину с зеркала! У вас в Интерполе наверняка есть спецы по расшифровке такого почерка.

Но Сеню это не трогало. Его ничего в ней не смущало, ничего не раздражало.

К примеру, она всегда гнала машину – не говоря уже о мотоцикле – с душераздирающей скоростью. По любой неизвестной дороге! Никто этого вынести не мог, кроме Сени. Он всегда уступал ей руль и всегда сидел рядом с расслабленной улыбочкой, кретин-кретином: будто катит в ландо по Булонскому лесу и приподнятым цилиндром приветствует знакомых баронесс.

И он совсем ее не ревновал. Ее случайные романы его не касались. Их обоих вообще ничего не касалось. Нет, правда! Они были... ну... как бы это... закапсулированы в своей любви. Он смотрелся в нее, как в зеркало, не отрываясь. Хотя почти всегда жил от нее очень далеко и был гораздо, гораздо старше. Такая странная связь...

Между прочим, я ведь сразу узнал ваш голос – через столько лет. Удивительно! Как только услышал в трубке: «Владимир?» – во мне как отщелкало: Интерпол,

следователь Керлер.

Можно вопрос, господин Керлер? А почему это дело опять ворошат? Я так понимаю, что его закрыли. Столько лет прошло. И Сени уже нет с его задумчивым фаготом...

...Ничего, что я закурю? Слава богу, есть еще в Монреале заведения, где хоть на террасе можно курнуть. С ума они все посходили тут, на Западе... Вообще я вам благодарен, что вы согласились допросить меня на воле... Шучу, шучу! Просто под пиво и сигаретку разговор как-то шустрее идет. Хотя о ней... ну, вы понимаете... о ней мне всегда трудно говорить. К тому же, я давно все рассказал, еще на тех, первых допросах.

...Да нет, красивой она не была. Обычная внешность: нос как нос, лоб как лоб... Глаза были яркими, да. И тревожными, странническими: будто она всегда начеку, налегке, на взлете... Но в нашей профессии до глаз дело не доходит. Нас снимают так, чтобы виден был трюк, а не лицо. Лицо каскадера в кадре – это загубленный трюк.

Ты должен дублировать актера, чтоб зритель не заметил подмены. И вот в этом она была гениальна! Тело у нее было безумно талантливое. И сумасшедшая реакция: при обеих занятых руках успевала поймать падающий стакан и поставить на место. Мне один знакомый, он физиолог, объяснял, что это люди такие, переученные левши: у них другое распределение функций в полушариях мозга. Название есть научное: ам-би-декст-ры. И, мол, недавно австралийские исследователи выявили, что такие люди быстрее оценивают ситуацию и быстрее принимают решения, и в спорте, и просто в жизни. Что вы улыбаетесь? Я чепуху порю, да? Так я ж в этом ни черта не понимаю. Говорю, что слышал. Да и сам бывал свидетелем.

Просто объясняю вам – ее природа создала по какому-то спецзаказу. Идеальное существо для прыжков, сальто, растяжек и прочих трюков. Что б она ни делала, на нее все время хотелось смотреть. Уводила взгляд за собой и дальше вышивала им любые узоры. И сложена была... не как эти глянцево-порнозвезды со вздутыми грудями. Наоборот: она была невысокая, такая... пацанистая... и очень соразмерная, знаете, каждая часть тела пригнана к другой самым безукоризненным образом. Двигалась – будто откликалась на неслышный зов. Словно всегда начеку. Даже когда что-нибудь увлеченно рассказывает. Это как бывает: милый тебе гость уже собрал чемодан, надел туфли, куртку, ожидает

такси. И разговор еще оживленный, и хохмы, и смех... а он, между тем, прислушивается – не машина ли там, у подъезда, сигналит? И у тебя как сожмет сердце! Потому что... увидимся ли еще?

...Черт, последняя сигарета... Спасибо, я курю только «Дю Мурье»... у них тут должны быть.

Месье, силь ву пле, ан паке дё Дю Мурье э дё Фандю Монд!..[З - Месье, прошу вас, пачку «Дю Мурье» и «Фан дю Монд» (искаж. фр.).]

А знаете, здесь приятно. Мне казалось, тут геи тусуются. Нет? Да мне все равно, геи, не геи. Они тоже люди... Взять Женевьеву: я ее уважаю. Вы ведь допрашивали ее, о'кей? Вы ее видели. Да, она довольно крепко закладывает, но я о другом: вот человек, который перевернул судьбу. Ту, что ей на роду была написана. Ну, посудите – девочка из захолустной деревушки на побережье Бретани. Ветра, дожди... Отец-рыбак, заработки плевые, по несколько дней в море. Мать в каком-то баре спиртное рыбакам продает. Пятеро братьев и сестер, и такая католическая закваска, что ею можно стены конопатить – ни черта человеческого не пропустит. И что? Когда Женевьева поняла, что ее влечет... ну, другое... что она – другая... порвала с семьей, уехала в Канаду, скиталась, бедствовала... и в конце концов победила. И без нее «Цирк Дю Солей» трудно представить. Она – форматор от бога, и фотограф от бога, и живет как хочет – вот что я хотел сказать. И для этого тоже силы нужны, знаете, немалые...

...Ну, я отвлекся, извините.

Насчет нашего ремесла. Конечно, мы часто работали на картинах в одной команде... Русских каскадеров на Западе любят, часто даже предпочитают своим: люди мы безотказные, чокнутые – что просят делать, то и делаем. Надо тебе, чтоб я головой в бетон воткнулся, – я воткнусь. Знаменитая русская удаль, а точнее, русское безумство. Так что, конечно, приглашали нас и в зарубежные картины, в разные клипы...

Что значит – «хорошим каскадером»? Она была лучшим! Лучшим, понимаете? Она – единственная женщина в Европе! – могла ставить мотоцикл на переднее колесо!.. А вот что это значит: мотоцикл разгоняется по прямой, затем резкое торможение передним колесом. Главное, чтобы дорога была сухая и мот юзом не пошел. Когда тормозишь, от резкого рывка гонщика вперед поднимается зад

машины, и надо держать равновесие и определенный наклон, чтобы не полететь кувыркком через руль и шею не сломать к чертям собачьим. Женщинам это физически очень тяжело. Нет такой массы, такой силы рук. Понимаете? А эта девочка умудрялась!

Господи, далась вам ее дисквалификация... Мы с вами уже обсуждали... Понимаете, вот психолог один американский, Марвин Цукерман, считает, что есть люди, чей организм постоянно требует стресса, выброса адреналина. Таким жизнь не в жизнь, если каждый день их хоть разок основательно не потряхнет. Наркотическая зависимость. Привычка к электрическим разрядам страха. И я вам скажу: в каскадеры идут именно такие. Ну, посудите – станет нормальный человек рисковать собой, чтоб какой-нибудь хлыщ-актеришка красовался вместо тебя в кадре крупным планом до и после твоего трюка, типа – именно он такой крутой?

Не-ет, это люди... знаете... Тут нужна очень крепкая нервная система. Прыжки, автомобильные, мотоциклетные, конные трюки, фехтование – еще туда-сюда, тут на свою реакцию, на выучку, на тело свое надеешься. А вот огонь... вода... это все нешуточные стихии...

Да, она тогда отказалась гореть, это правда. И сорвала съемки. А вы знаете, как ставятся трюки с огнем? Каскадер надевает спецодежду. Раньше она была из асбеста, потом его признали вредным, стали делать из тулена – это материал такой синтетический, огнезащитный якобы... ну и фигуру не уродует. А под асбестовый или туленовый костюм поддевали подкладку из тонкого войлока, он защищал. Так вот, костюм надевают поверх спецодежды, обмазывают напалмом... Напалм? Да нет, это костная мука, растворенная в бензине. Типа студня. Мажут в основном спину. Человек бежит, пламя оттягивается назад... Эффектный кадр. Ну вот... А есть полное горение. Тогда каскадер надевает маску из огнезащитного материала, с дырочками для глаз и для дыхания. Видите ли, когда человек горит...

Экскюзэ-муа, месье, пурье-ву бесэ сет мюзик дё мерд?..[4 - Простите, месье, нельзя ли сделать потише эту дерьмовую музыку? (искаж. фр.)]

...Так вот, когда человек горит, у него может начаться паника. Например, ветер не в ту сторону, то, се... Ожог. Ну и вот, бежишь, значит, бежишь-горишь себе спокойненько... Снято! – падаешь плашмя на живот, на тебя набрасывают презент или одеяло, но не водой гасят, а то может быть паровой ожог. Сбивают

пламя огнетушителем. На площадке для этого ошивается парочка страхующих. В тот раз, когда ставили сцену с Жанной Д'Арк, был один страхующий. Один! И он неправильно ей маску надел. Полную маску, понимаете? Господи, да вы хоть вдумайтесь, что это такое!

...Так, на чем я остановился?.. Вот именно! Пламя поднялось, она стала задыхаться, сорвала маску... После этого у нее остался такой тонкий розовый шрам вдоль левой скулы. Она его запудривала... безуспешно...

Да, но дисквалификацию она получила не тогда, а позже, года через три.

Я был там, на этих съемках.

Мы работали в команде, пару трюков должны были выполнять вдвоем. Не помню, как называлась в русском прокате эта картина. Итальянский режиссер... имя забыл... боевик, погоня... полное говно. Я никогда не читаю эти идиотские сценарии. Тебя приглашают на две драки и переворот машины, ты приехал, подрался, перевернулся, отработал, получил гонорар – и чао-чао! Короче, она должна была прыгнуть со скалы в этот их долбаный Неаполитанский залив в опасном месте, и надо было не промахнуться и войти в узкую расщелину между двумя скалами.

Ну, мотор, съемка, все на местах, каждая минута стоит хренову тучу зелени... Она подбежала к краю и – замерла. Застыла. Стоит как вкопанная. Вдруг повернулась и пошла себе прочь.

...Не знаю!.. Не уверен, что испугалась... Понимаете, обычно, когда каскадеры выполняют трюки, они близки к истерике. Говорю вам, не знаю, что ее остановило. Будто рычажок какой у нее внутри повернулся, и она в одну секунду решила покончить с этим делом раз и навсегда. У меня ее лицо перед глазами: такое... освобожденное, понимаете? Наверное, такие лица у оправданных в суде... Идет она, глаза зеленые – аж синие, как вода в этом самом заливе. Режиссер орет, продюсер в обмороке, актеры злые как собаки, съемка сорвана... А она свободна, как ветер... нет, как море!

С тех пор она зарабатывала на жизнь постановкой зеркальных шоу. Ставила освещение, придумывала конструкции разных зеркальных механизмов... Например, для самого известного казино в Берлине, «Европа-Центр» на

Брайдшайдплатц, придумала такой шар, назвала его «Шар-невидимка». Сверху – фасеточное строение, пластмасса с напылением... А внутри... вы не поверите. Висит в полсцены гигантский шар. Дистанционным пультом открывается – отъезжает в сторону – прямоугольный сегмент в бок, а внутри абсолютная, крошечная такая бархатная тьма. И если сунешь внутрь руку – рука исчезает. Эффект космической «черной дыры». Она объясняла, я мало что понял. Ну, не силен, никогда не был силен в науках. Понял только, что идея в замкнутой самой на себя системе зеркал.

И знаете, она была чертовски востребована. Много работала во Франкфурте, на известный «Тигерпалас», и, помимо прочего, была у них основным консультантом по освещению. Она во всем этом оборудовании, в прожекторах, световых сканерах, дихроичных светофильтрах и прочей абракадабре как бог разбиралась.

Зарабатывала хорошо. Непонятно только, на что деньги улетали. Не удивлюсь, если улетали в буквальном смысле, она их распахивала по карманам джинсов, куртки... Хотя, помню, кое-кому каждый месяц посылала приличные суммы. Например, Нинке, бывшей партнерше по номеру. Я имею в виду – по нашему цирковому номеру. Она считала, что виновата перед Нинкой, – мол, та из-за нее потеряла работу и осталась за бортом. Я ей говорил – ты что, сдурела? Нашла пенсионерку тоже!.. Нинка – здоровая баба, давно уже в другом номере процветает. Нет! Посылала и посылала – всю жизнь. Или этому... старому придурку, который башку-то ей своими зеркалами еще в детстве заморочил. Ему тоже посылала в Индианаполис... хотя он там отлично жил-поживал на крепком американском бульоне... Короче, она всегда плевала на то, что называется материальным благополучием. Работала много, это правда.

У нее жизнь была расписана года на три вперед. Я никогда не знал – где она в данный момент обитает, куда мчится на своем мотоцикле. Вообще она своеобразно жила – то там, то сям, то здесь, то вообще нигде. В любой стране снимала в рент мотоцикл, либо мощный спорт-байкер, если надо было по трассам передвигаться, либо круизёр, маневренный, если в городе. И никакого багажа: рюкзачок, в нем пара белья, вечный блокнот для ее расчетов... Вопрос гардероба решала просто: заезжала в ближайший магазин, покупала очередной зеленый или синий свитерок, майку – смотря по погоде... А потом оставляла это где придется – в номере отеля, в «гнезде» у Женевиёвы, или бросала на скамейке – для нищих... Я не знал человека, более равнодушного к себе, чем она. Заботилась только о байкерском прикиде, но и то – по необходимости. Мотоцикл,

понимаете, суровое дело – мы скорость развиваем далеко за двести, а это значит, что любой майский жук, если в физиономию врежется, может выбить тебя на землю. Так что косуха, надежные ботинки, перчатки, шлем или каска – это все без дураков должно быть...

В последний раз мы сидели тут неподалеку, в «Фигаро», месяца за два до... ну, до этого. И она была в отличном настроении, рассказывала, что на будущий год ее пригласили поставить несколько зеркальных номеров в здешнем казино «Де Монреаль», на время салютного фестиваля... Говорила, что специально для них придумала грандиозный трюк, завязанный на эффекте салюта. «Володька, представь, – говорила, – два гигантских естественных зеркала: черное зеркало неба и черное зеркало залива...»

Да-да... Она пыталась мне объяснить механизм фокуса, что-то с насаженными на окна и крышу вогнутыми зеркалами, которые отражают салют и то, что происходит в зале, и все это каким-то образом отсылается в небо, где всплывают гигантские миражи: люди невероятных космических размеров во всей этой салютной свистопляске.

Признаться, меня никогда не увлекали ее зеркальные заморочки. Не помню ничего конкретного из объяснений... Я просто смотрел, как она черпает ложечкой мороженое и кладет на оранжевый язык, и смешно так посасывает кончик ложки. Как ребенок...

Господи, Керлер... как ваше имя, черт возьми? Роберт? Я ведь отлично помню ее пятилетнюю, Роберт! Вы знаете, мы ведь с ней киевляне, с седьмого класса учились в одной школе... А еще раньше моя мать раза три убиралась у них в доме. Однажды взяла меня с собой. Отец тогда опять запил, а садик был закрыт на очередной карантин.

Говорила мне: «Ты, Володечка, рота замкнута у людей, так культурненько молчи, як нимый».

Мы-то жили в такой бедноте... ужас вспомнить! Папаня не слишком церемонился с семейным бюджетом. Однажды зимой пропил мою цигейковую шапку. А у нее-то отец – военврач, полковник, работал в госпитале на Печерске, да не просто, а заведовал инфекционным отделением. Сильный такой огромный мужик, очень представительный. Мать тоже, Марькирилловна... операми-симфониями в

музшколе командовала...

Они жили на бывшей Жилианской, в дореволюционном доме с такими витыми чугунными оградками на балконах. И квартира большая, с телефоном, с таинственным зеркалом в прихожей... Для меня это было, как... как потусторонний мир! Помню, входим мы. Напротив, чуть сбоку – зеркало на стене, коридор отражает. Кто по коридору идет, сначала в зеркале появляется, потом уже лично к вам выходит. И вот выбегает из огромного этого зеркала навстречу нам егоза: рот зубастый, глаза горят, хохочет-заливается. Бегаёт туда-сюда по коридору и топчет, топчет! Будто ей плевать на благочинность.

А я был смирным мальчиком. У нас с папаней разговор короткий: сиди тихо, говно, и лучше за шкафом. Я поэтому очень удивился такому грохотанию. И что ее не колотят за это. Моя мать ей говорит: «Золотко, дытышко, куды ж ты бижыш? Взмокреешь, як ота гуска!»

А та заливается: «Это не я, это моя радость хочет бегать!»

...Я, знаете, может, и всю свою жизнь перепахал, потому что она была перед глазами. Свободная, дикая... другая! Может, я так стремился избыть свое пугливое детство, выкорчевать его из себя, раздавить, как червяка...

Да... Смешно, а я ведь так разволновался, когда вы позвонили и предложили встретиться... Подумал: вдруг что-то нашли, вдруг... какие-то новости. Хотя что уж там – четыре года прошло, чему там найтись... Но я, убейте, не понимаю, не по-ни-маю!!! Положим, тело исчезло... Но мотоцикл, мотоцикл ведь не рыбка, чтоб в океан уплыть! А?! Он же, блядь, желе-е-езный! Его что – рыбы съели?! Дельфины его одолжили – покататься?!

...Извините... Все в порядке. Месье... не волноваться! Все о'кей... все о'кей... Бывает... Потерял управление...

Так надеялся услышать от вас что-нибудь новое... А пиво – коварная штука, господин Керлер... господин Роберт Керлер, это просто удача, что вы по-русски говорите. Прямо не знаю, что бы я иначе делал... Волком бы выл... Да, а пиво... его пьешь, как воду, а потом оно тебе душу выворачивает... Лучше уж сразу чего покрепче хлобыстнуть.

Я вот точно знаю, что сегодня с этого пива хрен усну. Буду лежать, как бревно, в темноту пялиться, а закрою глаза – она, пятилетняя, по коридору топочет, прямо из зеркала мне навстречу выбегает: лоб вспотевший, рот зубастый, и от хохота аж звенит вся:

– Это не я, не я! Это моя радость хочет бегать!

4

Вот крупным планом две игрушки.

Первая: Дюймовочка. Таинственная пленница железного цветка. Для того, чтобы выволить ее кисейный образ из темницы, надо нажимать и нажимать до онемения большого пальца пятачок металлического шприца. Пружина приводит в действие круг, лепестки на нем раскрываются, начинают с натужным жужжанием вращаться быстрее, быстрее, сливаясь в мерцающую пелену. А сквозь нее видна сидящая внутри малютка из невыносимо грустной, несмотря на счастливый конец, сказки Андерсена...

Она ждет, подогнув невидимые озябшие ножки под красной юбкой. Ведь только прекратишь давить на пружину, как цветок вновь скрывает узницу. Скорее, скорее освободить ее! Отогнуть железные, тупо захлопнутые лепестки!

Но сломанный цветок являет бездарно раскрашенную болванку пластмассовой куколки. И сколько ни ломай очередную купленную папой игрушку в надежде обнаружить внутри цветка настоящую Дюймовочку, там оказывается все то же: пшик, дешевка.

Вторая игрушка – акробат на турнике. Приводится в движение – как швейная машинка Полины – поворотом бокового рычажка. Синий костюм, целлулоидная физиономия с идиотской, но отважной улыбкой. Этот молодчик открыт всем и каждому и готов крутиться с утра до вечера, пока у тебя рука не устанет. Рычажок неумоимо повизгивает. Акробат поднимается на вытянутых руках, кувырк – и он уже под перекладиной, и вновь готов к рекордам.

– Нюта-а-а, ты б трошки видчепылася вид той железяки визгучей!

Это новая нянька Христина, племянница дворничихи Марковны. Она приехала из Пирново и села Марковне на шею. Нюта представляет, как, выйдя из вагона, Христина мгновенно вскакивает верхом на шею Марковне и погоняет, погоняет, свесив толстые ноги ей на грудь.

Христину папа придумал позвать, чтоб она подменила «нашу дорогую Полину», пока той режут в больнице живот и достают оттуда какие-то камни.

Христина огромная снизу, с маленькой глупой головой. Как будто ее тело поторопилось отрастить себе разлапистые ноги, ухватистые руки, запастись увесистой задницей... А приглядывать за всем этим богатым хозяйством посадили на плечи плоскую кочерыжку с туго завязанным куколом на затылке и никогда не закрывающимся ртом. И вот этот рот извергает певучую глупость на том языке, который Маша называет «суржиком».

– Марькирилна, та чого ж вона усэ ливою мастачить? У нэи права рука, бачу, ни до чого нэ годна.

Интересно, – вот Полина вроде умная и книжки так быстро умеет читать, чего совсем пока не умеет Нюта. Спрашивается: к чему ж она, дура старая, камней наглоталась?

– Нюта – левша, ничего не поделаешь, Христина.

Такой ребенок. Я попрошу вас не акцентировать на этом внимание.

Ма уводит Христину в кухню – якобы дать хозяйственный наказ. На самом деле будет сейчас шепотом учить, как ей, Христине, вести себя с «ребенком». Ребенок сложный, неуправляемый, не способный сосредоточиться. Вернее, способный сосредоточиться сразу на пяти занятиях. Сейчас Нюта продолжает крутить визгливую ручку игрушечного турника, одновременно попинывая левой ногой тряпичного Арлекина с дивной красоты фарфоровой веселой головой.

Он куплен недавно в Центральном универмаге, на углу Крещатика и Ленина, в отделе «Игрушки». Костюм его, папа сказал, – «венецианский», – из двух

половин: одна – темно-синий атлас, другая – желтый бархат.

И это привело девочку в страшное возбуждение.

– Неправильно! – сказала она Маше. – Купи наоборот! Синий – на другую сторону!

– У вас есть наоборот сшитый? – спросила Маша сдобную и румяную, как кукла, продавщицу. – Моя дочка почему-то хочет, чтобы синей была левая половина.

– А какая разница? – раздраженно спросила румяная кукла. – Берите этого, смотрите, какой гарный хлопэць!

Но Нюта вырвала руку из Машиной, затопала ногами, исступленно, горько повторяя:

– Неправильно, неправильно!!!

– Балуют детей, потом сами всю жизнь плачут, – сказала продавщица с осуждением.

Арлекина все же купили. Зачем?! Вывернутый наизнанку лгун, притворяга, оборотень! Еще допытаться надо – кто и для чего его сюда прислал. Бить его, пока не признается!

– Нюточка, я на работу пошла! – кричит из коридора Маша. Она уже в плаще и шляпке.

– Иди... – не оборачиваясь, девочка продолжает зафутболивать Арлекина под диван.

Она никогда не звала Машу мамой, хотя Анатолию в первый же день радостно и легко сказала: «папа!». Иногда бывали периоды, когда она говорила Маше «Ма», – как тысячи детей зовут своих матерей. Но та не обольщалась – это был всего лишь первый слог ее имени.

Дверь хлопает, Христина основательно и последовательно запирает ее, дважды проворачивая ключ, вешает цепочку и внимательно осматривает внушительную

дубовую поверхность – не пропустила ли еще какой замок, запор, задвижку? Через минуту возникает на пороге детской.

– Та-а-ак, – отмечает она. – Чи тут банда Петлюры гуляла, чи дивчина живэ?

Не получив ответа, с минуту наблюдает за действиями ребенка.

– Значить, не трамвируваты вас, Анна Анатольевна... – И вдруг говорит другим голосом: – Йды-но сюды, уёбище!

О, вот это уже интересно! Христина вдруг заговорила тем чудным, обворожительным языком, каким общались «шоферюги с молокозавода». Назывался он: «отойди-немедленно-от-окна-не-слушай-эту-гадость!».

Когда ранним утром охранник разводил тяжелые створы грязно-серых железных ворот молокозавода и десятки желтых цистерн с рисованным красным тавром на боку выползали со двора на улицу и толпились в заторе, протяжно и восторженно, как коровы, мыча, – тогда окрестности улицы имени борца революции Жадановского – бывшей Жилианской – оглашались цветистыми, как салют, взрывами особого шоферского разговора, непонятного, но очень решительного.

– Йды-но сюды! – повторила Христина. – Ликуваты тэбэ будэмо... Штопать-перелицьовувать... От кажи: ты, Нюта, умна чи дура?

– Умная, – убежденно отозвалась девочка. Христина свернула ладонь трубочкой, поднесла к своему круглому куриному глазу и вгляделась, как в бинокль.

– Нэ видать. Уси умны правой рукой вещи хапають, а ты – левою... Та ще нэ подступысь к тебе, то нэ кажи, це не робы... А ну давай грать! – крикнула вдруг. – Така ж вэсэла гра! Стий, не рухайся! Зараз будэ в нас полчеловека!

Потряхивая чемоданным задом, сбегала на кухню, приволокла несколько вафельных кухонных полотенец, вытащила из подола необъятной юбки три лошадиного размера английские булавки.

– Стоять, Буренка!

Нет, с Христиной явно куда интересней, чем с Полиной. Та только водит Нюту гулять в Жилинский садик и чинно раскачивает тяжелую медленную ладью железной качели, не позволяя разогнать ее до небес. Еще они в Липках гуляют, в парке Ватутина – там и вправду липы растут, огромные, пахучие, весной на ветках появляются маленькие зеленые пропеллеры, липкие на концах. Можно их раскрыть и наклеить на нос.

Еще Полина всегда пристаёт со своим дурацким чтением вывесок. И сама протяжно, как качель, раскачивает их голосом: «Тка-ны-ны»... «Про-до-воль-чи-то-ва-ры»... «Рэ-мо-о-онт взут-тя»... – идиотское занятие, если учесть, что дома все равно говорят на другом языке – на русском. И сама Полина говорит на русском. Тогда зачем вообще смотреть на эти вывески?

Кроме того, она терзает Нюту смешной тарабарщиной, «немецкий язык» называется. Все потому, что Полина – бывшая фребеличка. Нюта сначала думала, что это вроде истерички – когда Нюта устраивает та-ра-рам, Полина в сердцах обзывается этим словом. Но, оказывается, когда-то, миллион лет назад жил немецкий профессор Фребель (тощий селедочный старичок с кустами редкого мха на вдавленных щеках), который учил девиц педагогике – ну, это чтоб дети не баловались и не ругались шоферскими словами. Так вот, девицы-фребелички (целый строй обтянутых рюшами полных груди, шляпки с вишенками и райскими яблочками на полях) – набирали группы детей, человек по семь-восемь, водили их гулять в парки, воспитывали, учили языкам. Языкам! Чему там учить? Высунуть язык далеко-далеко... еще дальше... теперь достать нос... отлично! Но все равно это всего лишь один язык, один, хоть ты тресни!

Нюта с лету хватается все эти дурацкие «айн-цвай-драй-фи-ир, ин ди шуле геен ви-ир», что приводит Полину в неопишуемый экстаз. «Машенька! Машенька! – кричит она с порога, вернувшись с прогулки. – Я одного не могу понять: как ребенок, который со слуха мгновенно запоминает стишок на чужом языке, не может прочесть ни слова на родном?»

А что тут понимать: в голове есть такое зеркальце, в котором, если сильно сосредоточиться, отражается все, что хочешь запомнить. Надо только поймать зеркальцем нужный предмет, или слово, или, что гораздо веселее, цифру. И когда зеркальце поймает то, за чем охотится, считай это навеки пойманным. И разве не у всех людей так устроено? И с буквами все было бы отлично, если писать их правильно, а не вздорно, шиворот-навыворот, как повсюду повешено и написано...

Однако в Полине и хорошего много: после прогулки она всегда покупает Нюте что-нибудь вкусное. Пухлое желтое бревнышко эклера, политое шоколадом, а внутри – заварной или сливочный крем волшебного вкуса. Или корзинку с розовым сиропом, в котором завязла бордовая вишенка...

К тому же, на улице Полина безопасна. Там она не станет приставать со своей дурацкой «аскорбинкой», омерзительным кисло-горьким порошком, каким пичкает девочку дома – разворачивает плоский пакетик из кальки, делает его совком и, приговаривая: «Ро-о-от от-кры-ыли!» – сыпает порошок на Нютин обреченно высунутый ковшиком язык. На улице, наоборот, Полина в полной власти Нюты, – побаивается, что девочка даст деру. Это уже бывало, а бежит Нюта быстро, почти как мотоцикл. Короче, если Христина не станет заниматься подобной ерундой, счет в этом матче в ее пользу.

И хорошо бы она осталась насовсем.

Хотя Ма сказала, что Христина только приглядит за Нютой те несколько дней, пока Полину разрежут и снова хорошенько зашьют в больнице. Папа однажды объяснял, как человека режут и зашивают, а потом вытягивают нитки.

Три куклы были зарезаны и выпотрошены Нютой после его увлекательного рассказа.

Да...

Вот только Полина не вернется из больницы. Совсем не вернется, никогда. Может, ей там настолько нравится, что она так и будет глотать себе камни, а потом подставлять толстый живот под нож?

Христина между тем быстро и туго обернула девочку полотенцами, прикрутив к телу левую руку и оставив на свободе правую. Ловко сколола булавками, завертела, придерживая за плечо.

– Тю! От лялька!

– Я... мумия?

– Хто-о цэ?

– Мы с папой смотрели на картинке... это такой древний забинтованный мертвец.

– Тьфу! Та хіба ж ты мэртвак? Ты жива дівчина. Ходь на калідор, глянь-но в дзэркало!

Нюта попробовала пойти и чуть не упала.

– Я... не могу... ногами! – испуганно сообщила она.

– Усэ можэш! – крикнула Христина. – Брэшэш, можэш! Нижки-то в тэбэ он воны обе! Пишлы правэнькой ножэнькой упэрэд! А ну, топай!

Минут пять вместе ковыляли до прихожей. Там обитало чудесное, драгоценное и тайное... Никому про это нельзя было говорить.

Потому что днем, когда Полину вяжет сон, надо только терпеливо и хищно дожидаться дребезжащего храпа из кожаного кресла в столовой, куда Полина усаживается «полистать газету». Когда взмывает первая волна тракторного рыка под легчайший трепет газетных листов, надо мчаться – практически по воздуху, наступив на пять надежных паркетин, – в детскую, где на тумбочке возле Полининой кушетки, украшенное финифтью и тронутое проказой, стоит на высокой ноге ее старое круглое зеркало. На эмалевом исподе обносившийся Иван-Царевич умыкает совершенно уже безголовую Марью-Искусницу на колченогой кобыле.

И если осторожно поставить это зеркало на обувную тумбу в прихожей, точнехонько против другого, «генеральского», в резной черной раме, и медленно всплыть в глубокое, колеблемое тугими струями пространство между ними, открываются два входа в бесконечные зеркальные коридоры...

Нюта научилась скрывать эту игру, потому что Ма очень плохо относится к зеркалам, неохотно в них смотрится и даже, кажется, немножко боится, что очень глупо. Однажды, застав Нюту за медленным опьяняющим танцем меж двух зеркальных протоков, откуда изливалась волшебная гулкая прохлада, Ма

почему-то испугалась и отняла Полинино зеркало, беспомощно вскрикивая: «Что ты делаешь, не понимаю, чем ты занята, что за глупости?»

И вот сейчас наполовину забинтованная Нюта стояла перед высоким «генеральским», с бронзовыми подсвечниками, зеркалом.

– Кто... это? – хрипло спросила девочка, разглядывая однорукий пакет какого-то получеловека, привычно обегая изображение ощупывающим взглядом и переворачивая его справа налево. Отчего-то сейчас это было гораздо труднее сделать.

Миг узнавания себя в зеркале всю жизнь был как затяжной прыжок с парашютом. Никогда не умела мгновенно слиться со своим отражением. В первый миг были – встреча, оторопь, сердечный толчок: кто-то в твоей одежде. Надо было себя перевернуть. И всякий раз заново переучиваться смотреть.

Хотя всегда узнавала себя в искаженной поверхности: в воде, в ложке, в пузатом боку эмалированного чайника.

– О-о-т... – удовлетворенно проговорила Христина. – Оце так у нас в Пирново левшей выворачивают. Ты в нас скорэнько будэшь молодцом!

И часа два они с Христиной учились правой, слабой и неуклюжей рукой держать ложку, хватать мячик, бросать и поднимать с пола вещи, расчесываться. И даже управляться с куском газеты в уборной после «справы нужды».

– Христина, ну... хватит, – наконец попросила девочка. Лицо ее осунулось, глаза потемнели, пот бусинами высыпал над верхней губой. За все это время она ни разу не плюнула, не лягнула ногой невинную игрушку, не взвизгнула. – Развяжи меня! Надоело!

Христина вылепила отличную крупную дулю из красных пальцев и сунула Нюте под нос:

– От! – проговорила она. – Трымай! Назад нэ пойдэмо. От папанька у пъять з оспиталья прыйдэ, так у полпъятого и видщепну. Боженька терплячих полюбляе! А леваков проклятых боженька на дух нэ выносыть! Хошь з бисом водытыся?

Нюта ввалившимися глазами смотрела на няньку-мучительницу. С каким-то неизвестным и, судя по Христининому тону, малосимпатичным бисом она водиться не хотела. Впрочем, любит ли ее боженька, ей тоже было безразлично. Лучше бы, конечно, любил.

Однако... если никчемушная правая рука станет такой же умницей и проворницей, как левая, вот будет здорово кидать сразу пять мячиков, как тот жонглер в шапито!

Девочка присела на табурет и задумчиво – впервые – почесала нос правой рукою.

Господи, вот бы нюхнуть, вот бы шумно втянуть еще разок того густого волшебного аромата: смеси навоза, конского пота, свежих опилок, горячих фонарей и нагретого брезента! Как сердце забилося, когда заиграл оркестр, – грянул праздник, ударили по глазам из прожекторов струи красного и голубого света, и принц в коротком блестящем плаще, балансируя длинным шестом, нес на плечах миниатюрную девушку почти без одежды, но вся она сверкала и переливалась блестками, как настоящая Дюймовочка! И вдруг под страшный барабанный бой взлетала и пружинно приземлялась прямо на канат обеими ногами!

Папа тоже хлопал как сумасшедший и купил у тетки второе «крем-брюле» в коричневой пачке с нарисованным мушкетером. Но Нюта есть не могла. Сидела с пересохшим ртом, не отрывая глаз от манежа. Навстречу ей по канату во внутреннем зеркале – в том, которое чуть выше глаз, – шла она, сама Нюта, с длинной палкой наперевес. Как вот эта Дюймовочка! Но не сейчас, не скоро.

– Папа! – возбужденно проговорила она, потянув отца за рукав макинтоша. – Я тоже так могу! Я так умею... Я потом-потом... через много дней... тоже так умею!

Отец отмахнулся:

– Что ты бормочешь, дочура, глупости какие! – и сам съел крем-брюле – как сказал ей потом, «на нервной почве, машинально, в три откуса».

И этот жонглер после представления...

Нюта с папой вышли последними, потому что она не желала уходить. Жонглер стоял, вернее, пружинно раскачивался из стороны в сторону в темном уголке возле огнетушителя. Он тренировался: подбрасывал и ловил пять желтых шариков. Время от времени шарик падал, жонглер ловил остальные – укладывал один за другим в длинную ладонь и наклонялся за упавшим. И вновь запускал над головой желтую пунктирную дугу.

– Ну постой, па... – умоляюще проговорила она. Остановилась рядом. Смотрела, не отрываясь. Почему-то знала, когда шарик упадет. Вернее, видела, что вот он завис чуть ниже остальных и, значит, немного отклонился в общей дуге... Пропустила один, другой... и, молниеносно и точно подавшись влево, схватила падающий мячик и протянула жонглеру.

– Ай, bravo! – воскликнул он, забирая мячик разогретой ладонью. – Левой, левой?! Ай, бра-а-аво!

И по дороге домой Нюта бежала, скакала, летела, далеко отбегая от отца и возвращаясь к нему, как счастливая собачонка, принеся хозяину поноску.

Тогда он улыбался и говорил:

– Ай, бра-а-во! Левой, левой? Ай, бра-а-во!

5

...Я сразу понял, что знаком с ней давным-давно; что она и есть та маленькая хохотунья-подскока, что меня поразила и даже напугала много лет назад в киевской квартире совсем чужих людей.

Наш оркестр гастролировал тогда по городам Украины, и замдиректора филармонии попросила передать своей киевской родне («Сенечка, милый, не откажите!») какой-то сверток, мягкий и легкий, – я потому и согласился. Терпеть не могу таскаться с чужими передачками, когда в руке и так футляр с фаготом.

К тому же выяснилось, что живет эта самая родня как раз на улице Жадановского, которая бывшая Жилинская, Жилинская, Жилинская – и в народном киевском сознании другой так и не стала.

На которой когда-то я гостевал с дедом, летними короткими наездами.

Я любил Киев, неплохо его знал. В детстве каждое лето жил у деда в Жмеринке, и мы с ним обязательно приезжали в Киев на недельку. Останавливались у дедовой приятельницы, бывшей цирковой гимнастки, в перенаселенной коммуналке в старом двухэтажном доме на Жилинской.

Панна Ивановна ее звали. Фамилия какая-то армянская... Если память не изменяет, она немного спекулировала – так, для развлечения. Хвасталась, что первую в жизни торговую операцию произвела, сшив босоножки из солдатских ремней и продав их на рынке, – мол, деньги нужны были позарез: как раз в те годы она крутила бешеную любовь с красавчиком-униформистом.

И курильщицей была вдохновенной, смолила одну за другой, но окурков не терпела, называла их «мертвечиками». Если видела на кухне пепельницу с окурками, строго приказывала: «Уберите мертвечиков!»

Коммуналка эта была населена довольно колоритными типажам, словно подтверждая свое давнее назначение, – дед говорил, что в квартире прежде размещался один из респектабельных киевских борделей.

Удивительно, как эта разнокалиберная команда умудрялась довольно сносно, без скандалов, существовать. И какая только забавная шушера там не обитала! Например, некий странный художник, может, и небесталанный, но абсолютно асоциальный тип. Ходил в таком живописном тряпье, подозрительно дамском. То ли подбирал, то ли крал с веревок, то ли благодарные музы ему обноски дарили. Маэстро заставлял и меня, и деда ему позировать. Портреты, правда, не отдал, и сейчас я, бывает, с грустью думаю, что дедов портрет купил бы, не задумываясь, за приличные деньги... (С другой стороны, куда бы я его дел, на какой умозрительный гвоздь повесил в своих бесконечных переездах?)

Помню эту длинную промышленную улицу, где, впрочем, изредка попадались и бывшие доходные дома – с орнаментом, скульптурными украшениями, даже с кариатидами! В отличие от Крещатика, разбомбленного в войну, этот район – и

Жилянская, и Саксаганского, Тарасовская, Старовокзальная, Чкалова – та, что бывшая Столыпинская, – весь сохранился, был забит до отказа клокочущим людом самого разного пошиба, тарахтел, дребезжал трамваями, вопил калеными глотками Центрального стадиона, кипел бурной жизнью цирка на знаменитом Евбазе.

Помню большой немощеный двор с развешанным бельем, голубятню, дровяные сараи, дощатый дворовый сортир и огромную лужу у водоразборной колонки.

По дедовскому списку – филармония обязательна и отмене не подлежит! – мы с ним выхаживали и вывизгивали на трамваях по летнему городу огромные расстояния. Попутно он закупал себе часовой фурнитуры.

Я тогда был влюблен в автомобили, меня мучительно волновал запах большого города: сложная смесь газаolina, горячего масла и свежего бензина от проезжавших машин, запах жареных пирожков на уличных лотках и политых из шланга улиц. Я еще помню дворников со шлангами в руках. Помню множество огромных, шевелящихся под ветром клумб, пунцовых от роз, гвоздик и тюльпанов.

И мне ужасно нравились усатые киевские трамваи (одна из присказок деда: «Пока ходят трамваи, будем жить!»). В те годы они были раскрашены так: низ темно-синий либо ярко-красный, верх – светло-кремовый, как на пирожных. И разлапистая пятиконечная звезда на плоской, как бы тупо изумленной морде.

Филармонический зал, лучший по акустике в Киеве, дед называл Купеческим собранием и сад позади него, Пионерский, тоже называл Купеческим. После концерта вел меня пешком через трамвайные рельсы, всегда возбужденный, взволнованный – дед был уникальным меломаном, влюбленным в духовые инструменты, – и всегда напевал-проборматывал минувшую музыку.

– У кларнета, Сенчис, – говорил дед – все регистры хороши, почти все. Басы его, угрюмо-зловещие – в начале вот Пятой симфонии Чайковского – помнишь, в прошлый раз слушали? Затем полторы-две октавы ровненькие, блестящие, с нервом! Любое тутти оркестра прорежет, хоть три форте, хоть пять! Плачь, ликуй, в любви объясняйся – все кларнету подвластно, всюду он хорош... И атака мгновенная! И стаккато щегольское!.. Но кларнет, Сенчис, инструмент открытых чувств – даже когда звучит зловеще! В его голосе подтекста нет, нет второго

плана. А вот фагот, Сенчис, это совсем иной коленкор... Мне приятель рассказывал – он играл в филармоническом оркестре как раз на фаготе, – что сам Рахлин, Натан Григорьевич Рахлин, великий дирижер, на репетиции «Патетической» сказал однажды: «Оркестр, слушайте фагот! Он поворачивает!» – Дед останавливался перед тем, как повернуть в очередной проходной двор, и я послушно, как лошадь, останавливался рядом. – А после соло фагота, когда тема проходит у деревянных, Рахлин своими толстыми, как сардельки, пальцами, показывал каждую шестнадцатую! «Фагот поворачивает! Фагот поворачивает!» Дай бог тебе, Сенчис, когда-то понять: это гениально сказано!

Проходными дворами Киева можно было полгорода пронизать – каменные ступени, подворотни, перепады высот, замшелые лесенки с одной улицы на другую. Запах прелого, слежавшегося тополиного пуха, а над ним – одуряющий запах лип и непередаваемо тонкий, как звук далекого английского рожка, вечерний аромат бархатистых лиловых цветков с оперным именем «метиола».

Однако главным был запах круглого хлеба – «арнаутской булки», и сейчас мне кажется, что при всей своей любви к деревянным духовым дед приезжал в Киев именно за ним – за неповторимым, духовитым и сытным запахом «арнаутки».

Как описать этот запах? Не знаю... Ничего похожего на кислый дух черного хлеба или сладковатую отдушку белой булки.

Дед просыпался рано, брился опасной бритвой над старой, с проплешинами ржавчины, раковиной в гостеприимной коммунальной кухне, натягивал сапоги убитого итальянского солдата и шел в соседнюю булочную к открытию, как на свидание с женщиной. Собственно, «арнаутка» и пахла как женщина – вечно неизведанным счастьем.

В коммуналке деда прозвали «Арнауткин». Спрашивали: «Панна Иванна, к вам когда в другой раз Арнауткин приедет?»

Недавно в Бостоне в русском магазине я увидел круглую буханку с ценником: «Арнаутская булка». И сразу купил.

Разумеется, ничего похожего на божественный аромат моих детских киевских гостеваний.

Так что в Киев я всегда приезжал с удовольствием и тайным волнением, хотя в конце шестидесятых город уже стал другим.

Однако в ресторане при гостинице «Театральная» на углу Владимирской и Ленина, как раз напротив оперного театра, по-прежнему подавали в трех кокотницах отличный куриный жюльен с грибами – и за очень умеренные деньги.

На второй день после концерта я наконец собрался выполнить просьбу.

Семья, в которую вез передачку, оказалась чудесной, приветливой, по супруге – даже музыкальной. Выяснилось, что хозяйка была на нашем концерте, и – ах, если б она только знала... словом, меня усадили пить чай, а к чаю присовокупили кое-что целительное – в то время я здорово зашибал, сердце еще было молодое, помалкивало себе.

И разговор покатился такой душевный и вышел – а это нетрудно в те годы было – на репрессированных родных и знакомых. Я вырос в Гурьеве, хозяйка Маша – в Семипалатинске... Мы как-то подались друг к другу, как забытые родственники. А муж ее, здоровенный, молчаливо-радушный хохол – кажется, он был военный доктор, к тому же в чинах, – подливал мне и подливал.

Вдруг из какого-то своего закутка выскакивает эта девчонка.

Но сначала зычный всенародный голос завопил:

– Нюта-Нюта-Ню-у-у-у!

Возникло как из-под земли чучело лет пяти, ростом с пенек – в шляпе с цветами, в длинной материной шелковой юбке и блузке с огромным вырезом, в котором двумя кнопками – детские глазастые соски.

– Хотите видеть краса-а-авицу?!

Хоп! – туфля полетела вверх, каблуком чуть не сбив отцовский бокал на столе.

Хоп! – другая туфля задела тяжелую пятирожковую люстру, и та угрожающе закачалась над нашими головами.

Вслед за девчонкой выскочила толстозадая девица с головой микроцефала и огромными лапищами. Она пыталась поймать это чудо-юдо, загнать в какой-то там ящик Пандоры, откуда та столь стремительно выскочила. Однако ни догнать, ни совладать с этим маленьким смерчем не могла. И девчонка дважды еще выбегала в разных нарядах со своим воплем:

– Хотите видеть краса-а-авицу?!

А я детей вообще-то не люблю и не понимаю. Я не знаю, как с ними разговаривать, скучаю, раздражаюсь, стараюсь куда-нибудь смыться.

Но эта прыгала так изумительно, да еще винтом успевала перекрутиться в прыжке. Кузнечик какой-то...

Выбежав во второй раз, заметила меня, застыла на мгновение... и вдруг хохотать стала, заливисто, потешно, хватаясь за живот. Рот от уха до уха, зубы – крупные «взрослые» вперемешку с молочными, остренькими. Две дырки на месте верхних клыков. Забавный такой человечек, радость из нее била фонтаном! И дикая энергия. А глаза невероятные, морские – зеленая просинь, – цепляли они тебя поверх смеха так по-взрослому, словно дознаться хотели: ты откуда? ты кто?

– Ты чего? – спрашиваю. – Чего смеешься?

– Ой, смично! – крикнула она. – Смично!

– Чего тебе смешно?

– Он как папа! – кричала она, и прыгала, и пальцем в меня показывала. – У него день рождения, как у папы!

И тут произошло нечто странное: лица хозяев дома погасли, глаза обреченно потупились.

– Нюта, тебе спать пора! – резко сказал отец.

– Как у папы! Тот же день! – и заливалась смехом.

– А когда у папы день рождения? – спросил я это щербатое чудище.

Она задрала ногу к уху, схватила за щиколотку, притянула к лицу. Отчеканила:

– Девятнадцатое сен-тя-пря!

Я оторопел, хмыкнул... Попала! А она все крутилась и ногами вытворяла черт те что, и руки как мельница. Сейчас таких детей называют гиперактивными, а тогда и диагноза подобного никто не слышал. Говорили просто: невыносимый ребенок. «Ой, смично!»

Она была невыносима.

Но более всего поразили меня тогда лица ее родителей, их извиняющиеся улыбки, опущенные глаза, словно вдруг обнаружилась дурная семейная болезнь. Отец поднялся и – при госте неудобно было воспитывать, прикрикнуть – стал выпроваживать ее, растопырил руки и оттеснял всем своим большим телом в конец коридора, где, видимо, была ее комната. И еще дважды девчонка выскакивала оттуда, радостно вопя детские глупости и выделявая ногами-руками фортеля так, что у меня в глазах зарябило. И дважды отец смущенно ретировался ее успокаивать. Когда наконец вернулся за стол, я сказал:

– У вас дочка очень талантливая... к спорту. Вам надо ее на акробатику, что ли, отдать.

И оба они благодарно закивали:

– Да-да, нам уже говорили, вот с сентября определим в спортивный кружок...

Странно, что ни он, ни его жена даже не поинтересовались – мол, а что, между прочим, какого числа всамделе у вас день рождения? Выходит, знали, что прозрения ее снайперские. Выходит, она с самого раннего детства их озадачивала.

Жаль, я тогда уже был довольно выпивши, а пьяному все трын-трава, хоть день рождения тебе назови, хоть дату смерти...

Как пили все мы тогда, боже ты мой, как пили!

Мравинский, как известно, запирали знаменитого валторниста Удальцова у себя в кабинете на ключ. Так тот на шпагатике опускал из окна трешку, а внизу ждал его мальчик, который мчал со скоростью ветра в вино-водочный. Затем обвязывал бутылку тем же шпагатиком, и Удальцов тянул добычу наверх. После чего, в лоск пьяный, гениально играл!

Кларнетист Баранов и гобоист Тупиков повсюду ходили вместе, потому что врозь падали.

В Кировском театре фэготиста-алкоголика запирали в оркестровой комнате. К концу третьего акта он бывал уже готовеньким в дугу. Как умудрялся напиться? Эти русские самородки: у фэгота внизу есть серебряный стаканчик, закрывающий соединительную трубу. Так этот кулибин на тот стаканчик напаял поверху еще один стакан, в который и наливал живительную влагу; а на репетициях потягивал ее по глотку через трубочку – дополнительный «эс». Так и поправлялся, бедолага. Именно ему, кстати, принадлежит крылатая в музыкантском мире фраза: «Один день в неделю – для встряски организма – надо НЕ пить!»

Так что тем вечером я наугощался у добрых людей и про девочку забыл. Вот наутро в гостиничном номере, как проснулся да на опухшую морду холодной водой пару раз плеснул... тогда вспомнил. И испугался! Ну, думаю, надо же! Что ж ты, дурак, не приголубил, не подлизался к этой чудовищной крошке... Может, она бы и другие твои даты назвала, пятилетняя сивилла... И потом, нет-нет, вспоминал это странное существо. Ну да со временем забылось...

И вот – осенью это было, в восемьдесят восьмом, в Москве. Попал я тогда в цирк на Цветном совершенно случайно и тоже не на трезвую голову. Накануне приехал из Питера к другу, был такой замечательный фэготист Миша Дятлов, ныне покойный; его сестра, администратор гостиницы «Минск», всегда устраивала мне приличный номер. Выпили с ним душевно, потрепались, а наутро он в лежку. То ли грипп, то ли сердце, то ли почки отказывают. Звонит мне в гостиницу и умоляет отыграть за него в цирке, там вечернее представление, а

затем утренняя репетиция – пустяк, часа три.

И я, конечно, пошел выручать друга Мишу. Тем более, что с цирком в молодости достаточно поваландался, тамошний бравый репертуар мне не чужд. И уж Дунаевского как-нибудь с листа сыграю.

После репетиции стою, укладываю инструмент в футляр и краем уха вылавливаю привычные шумы, – по утрам в цирке своя музыка. Сонную тишину распарывает рык хищника, окрик дрессировщика, щелканье кнута – в манеже обычно по утрам репетируют с животными. После десяти начинают подгрести артисты-«жаворонки»: кто репетирует, кто просто потрепаться явился.

Вяло прислушиваюсь к разговору за спиной. Два женских голоса. Не помню деталей, но одна вроде говорила о весенних гастролях в Армении. А другая ей: «Не будет никаких гастролей. Расслабься».

Та: «Да ты что, обалдела? Вон, на доске приказ директора».

И этот, другой голос, низкий такой, мальчишеский, вдруг пропел: «Не бу-удет, не бу-удет, не бу-удет...»

Меня как толкнули!

Я обернулся. И из этих двух сразу увидел ее. Не в том смысле, что во взрослой девушке, неяркой такой, в джинсах и синем свитерке, признал хохотунью, невыносимую ту акробатку. Просто она смотрела на меня – требовательно. И я понял, что это меня она выпевает со спины: хотите, мол, видеть красавицу?

Невысокая, легкая, словно... стрельчатая. Глаза – переливистые, как в быстром ручье в солнечный день...

У меня руки налились такой тяжестью, я чуть футляр с фаготом не выронил. Все внутри заметалось, рванулось куда-то... Подумал только: а ведь и не будет, пожалуй, никаких весенних гастролей, в Армении-то. И надо бы спросить, не жила ли она в Киеве, в конце шестидеся... как вдруг она четко выговорила: – Смично!

И я все стоял и смотрел, какой у нее подбородок узкий, но круглый, твердый, а губы, наоборот, детские и доверчивые. И мягкие, даже на вид...

6

Маша молча разделась в темноте спальни, на ощупь сложила одежду в кресле, вытянула из-под подушки ночную рубашу.

– Я не сплю, – проговорил Анатолий. – Можешь включить лампу.

– Спи-спи... я уже управилась.

Забралась под одеяло, вытянулась и замерла.

День сегодня был мучительный, тоскливый. Похоронили Полину – старого друга Машиной семьи, почти родственницу – сначала неудавшуюся папину невесту, а с тридцать шестого, с того дня, как арестовали отца, – мамину подругу на всю жизнь.

Она и в Семипалатинск к ним приезжала, и все годы консерваторской учебы в Киеве Маша прожила в огромной коммуналке на Подоле, в комнате у Полины, расстилая на полу тощий матрасик на ночь.

В свои семьдесят пять Полина была еще такой деятельной и так усердно помогала с Нютой – да что там, она буквально выходила девочку, ведь Маша привезла ее почти бестелесную – из поезда вынесла на руках. Полина тогда просто переселилась к ним жить.

И что, казалось бы, особенного в рутинном удалении желчного пузыря? Она уже поднималась после операции. Была, как уверяет Толя, абсолютно готова к выписке. И вдруг – внезапная остановка сердца.

Маша повернула голову, увидела, как в глазах мужа ответно блеснул отраженный свет фонаря за окном.

– Толя, – шепнула она, – скажи... Ведь никак нельзя было предположить, что этот тромб...

– Нельзя, нельзя. Угомонись. Это штука неожиданная.

– Тогда как же...

Оба они молчали, и у обоих перед глазами стояла трехдневной давности сцена в кухне за ужином. Христина жаловалась на причуды своей тетки, дворничихи Марковны. Та взяла напрокат телевизор, который включает только на время, «для себя».

– Бэрэжэ, стара дурэпа. Думае, шо колы збэригаты, то воно нэ зрасходується!

Одновременно Христина безуспешно пыталась повернуть на вилку длинную макаронину, наконец взяла ее толстыми пальцами и шумно всосала.

Когда после ужина Христина ушла, напоследок звучно расцеловав в обе щеки и нос уже притомившуюся Нюту, Маша, с усмешкой вспоминая какие-то забавные словечки новой няньки, заметила, что девушка она хорошая, душевная, но когда Полина вернется из больницы, Христину, конечно...

В этот миг Нюта подняла голову от «Мурзилки», который не читала, а разглядывала картинки, как всегда, с конца, и сказала:

– Нет, пусть будет Христина. Она смешнучая. Она меня пере... ли... цувает!

– Нюточка, Христина будет в гости приходить, ты же не хочешь, чтобы наша любимая Полина...

– Не любимая! Не Полина! Не вернется!

– Что ты болтаешь! – прикрикнул отец. Они с дочерью были друзьями, и Толя позволял себе то, чего никогда не позволяла себе Маша. Мог и шлепнуть, когда заслуживала.

– Вот послезавтра Полину выпишут, ты ее сама встретишь из больницы с цветами.

Девочка молча, удивленно и слегка беспомощно переводила взгляд с отца на Машу. Она будто силилась и не могла им объяснить очевидное, что не нуждалось в доказательствах, в чем она уж никак не была виновата и чего они не могли или не хотели понять.

– Но, па-а-а, – протянула она обиженно, – ведь Полина все равно не вернется!

Толя выпростал руку из-под одеяла, зажег ночник.

– Машута, – сказал он. – Не бери в голову. Это бывает, бывает. У чувствительных детей иногда случаются такие... догадки. Ты посмотри на нее, она же как ртуть...

– Толя, может, все-таки показать ее психиатру?

– Чушь! Она совершенно нормальный ребенок. Только очень активный.

– И ты по-прежнему считаешь, что ее не надо переучивать с левой руки на правую? Ведь со временем в школе...

– Ерунда! Какая тебе разница, какой рукой она ест, какой будет писать? Что за средневековый подход, что за предрассуд... тихо!

– Нет, она спит.

– Пойми, – понизив голос, продолжал муж, – переученный левша может превратиться в заику, в неврастеника, в бог знает кого! Потом не расхлебашь эту учебу.

«Ну да, – подумала Маша с укоризной, – а сам-то как переживал, сам-то, когда...»

Анатолий действительно поначалу не мог смириться, что девочка, мгновенно запоминавшая наизусть любой текст, никак не может научиться складывать буквы.

– Что за чепуха! – кипятился, – ты ж у меня умная, ты ж умнящая обезьяна! Ну-ка, давай, повторяй за мной: бэ... у-у-у... Получается «б-у-у»...

Настоящий скандал произошёл на злосчастном слове «бублик». После бурного недоразумения, невнятицы, рыданий и огрызаний отец поставил Нюту в угол, минут через пять позволил выйти, но она упрямо стояла там, и даже ноги у нее от слез были мокрыми.

Толя, однако, со своим, как говорила Маша, «хохляцким упрямством», решил на сей раз довести дело до конца.

– Ну, ладно реветь, в лужу растаешь. Иди сюда, не может такого быть, чтобы мы этого не осилили!

И действительно, первый слог был покорен мгновенно: «буб»! «Буб»! На этом успехи и закончились. Второй слог «лик» никак не удавалось покорить.

– Здесь... про килограмм, – сказала наконец девочка.

– Какой килограмм?! Какой килограмм, бестолочь?! – Он рухнул на стул...

Помолчал, успокоился, снова взял листок с крупно и кругло написанными буквами.

– ЭЛ!И!КА! «Лик», понимаешь? Что тут такого, ведь ты уже прочитала «буб». Лик, лик! Эл-и-ка! ЛИК.

Он перевернул листок, опять подвинул к ней, опустил глаза... и вдруг вскочил как ошпаренный.

– Машута!

Маша испуганно примчалась.

– Вот смотри, – сказал он нервно. – Она читает справа налево. Вместо «лик» читает «кил».

– Нюта, вымой руки, будешь есть суп. И вытри слезы.

– Да нет, ты не понимаешь! «Буб» она прочитала только потому, что справа налево и слева направо то же самое. И говорит – килограмм, килограмм... Я думаю, что за килограмм, к черту? Да она прочла «кил» вместо «лик»!

– Оставь ее в покое, – грустно проговорила Маша.

Сейчас, после похорон Полины, Маша вспоминала ту ночь в поезде, когда она везла в Киев свою хрупкую добычу. Летучий свет луны забеливал и зыблил занавески в купе СВ, девочка уснула и бесплотным комочком лежала в темноте на соседней койке.

На крюке болтался ее рюкзачок – внутри две пары трусиков, носочки, клетчатое платье с оторванной оборкой на рукаве-фонарике. «Это... все ее вещи?» – удивилась Маша, принимая рюкзачок из руки воспитательницы. – «Все, – ответила та. – Всё, с чем она к нам пришла».

Поезд мчал на ночной предельной скорости, шарахался на поворотах, как испуганный конь, и навязчивая, странная мысль донимала Машу: что едут они не в Киев – домой, к Анатолию и нетерпеливо ожидающей малышку Полине, – а в какую-то бесконечную неприятную пустоту, где вечно теперь будет только эта скорость, тревога и скользящий свет луны...

Вся беготня последних дней, очереди к нотариусам, сражения с чиновниками, совсем ее измучили; она боялась, что девочка не дождется и истает, уйдет... Маша так и не доискала соседки Шуры, которую можно было расспросить подробней о девочке, о покойной ее матери... Неуловимая соседка будто нарочно пряталась, избегала встречи.

Ну, бог с ней, какая разница, в конце концов? Сейчас надо срочно: анализы... комплекс витаминов. Ласку, любовь, игрушки... вкусную еду. Хорошо, что рядом Полина с ее бесконечной преданностью и неустанной готовностью тереть яблоки и морковку...

И конечно, необходимо заняться развитием девочки – налицо явное отставание. Молчит и молчит. Но, слава богу, она не немая и слышит нормально – значит,

когда-то же заговорит как следует!

Проснулась Маша от неуютного ощущения, что на нее внимательно смотрят. Открыла глаза и чуть не подскочила. Совсем рядом, близко-близко, на ее полке сидела девочка – бестелесный крошечный эльф в голубоватом свете купейного ночника.

Она молча неотрывно глядела на Машино лицо. Этот долгий, изучающий взрослый взгляд напугал Машу так сильно, как с детства она не пугалась (мгновенно промелькнули в памяти вечерние страшилки в пионерлагере: в черной-пречерной комнате... сидела черная-пречерная...)

«Может, она страдает... лунатизмом?» – в панике подумала Маша.

– Аня, Анюта... – тихонько позвала она, приподнявшись, и девочка сразу отозвалась совершенно трезвым, дневным, печальным взглядом. – Ты почему не спишь, деточка?

Та продолжала смотреть, не откликаясь. У Маши пересохло горло.

– Хочешь, приляг ко мне. – Она откинулась на подушку и ладонью похлопала рядом с собой. – Приляг... к маме.

Девочка шевельнулась, сложила руки на коленях.

– Ты не мама, – проговорила она хрипловатым голосом, в котором слышна была такая взрослая тоска, что Маша опять приподнялась и села.

– Нюта, – шепнула она – а где... м-мама?

Та повернула голубоватое личико, на котором только эти огромные глаза и остались, вздохнула и проговорила:

– Мама в зеркало ушла.

– Толя, помнишь... – сдавленно заговорила Маша. – Помнишь, как в апреле она вошла в подъезд и сказала: «А дверь у нас будет скоро зеленая», и через день

вывесили объявление о ремонте, и дверь покрасили в зеленый цвет? И ты потом говорил о теории вероятности, о совпадениях... Толя! Мне страшно...

Он молча обнял ее. Минуты три она лежала, уткнувшись носом ему в подмышку. Все ждала, что муж, как обычно, станет полушутливо объяснять ей про какие-нибудь открытия в психологии, согласно которым человек иногда... Но муж молчал. Наконец, когда Маша стала уже задремывать, Анатолий проговорил вдруг спокойно и внятно:

– Ты, Машута, съездила бы туда.

– Куда? – испуганно очнулась Маша. Бордовые занавески на окне спальни зловеще тлели в свете ночника.

– А вот откуда ты ее привезла.

Помолчал и добавил:

– Порасспрашивала бы... чего тогда не расспросила.

* * *

Недели через две Маша взяла несколько отпускных дней и поехала в Ейск.

Она не знала, зачем, собственно, едет и каких таких признаний ждет от чужой женщины – каких свидетельств, о чем? И что может измениться от этих признаний в их жизни?

За окнами поезда желтыми озерцами цветущей сурепки вспыхивали проплешины лугов; в темных чащах сплошного леса мелькали все оттенки зеленого. Широкое поле, засеянное клевером, поднималось на груди холма, ребрилось под ветром, как стиральная доска.

Поезд мчался, выходил из полосы дождей, окунался в солнечное марево; снова окна ополаскивала дождевая рябь. Июньская щедрая зелень благодарно дышала под летучими дождями...

Прوماхнули загон, где по зеленой траве катался на спине шоколадный жеребенок, дрыгая ногами и показывая замшевый и мягкий, как подушка, живот. Такой же замшевой мордой поддевала малыша мать.

Эти два года состарили Машу на десять лет. В ней вдруг опять всколыхнулись невнятные детские страхи, знакомые еще со времен семипалатинской школы, когда, по дороге домой перепрыгивая трещины в асфальте, она загадывала: если не наступлю ни на одну, все будет хорошо и папа вернется. И непременно наступала. Попытка задобрить какую-то высшую силу: бога нет, конечно, да кто-то же отвечает за этот мир! Она чувствовала, знала – отвечает! Вот его, которого... который... словом, эту всевышнюю силу надо было умолить, задобрить или лучше – съезжиться так, чтобы тебя не заметили. Неотвратимость – вот что было с детства самым ужасным.

Ее мучил страх за девочку, за будущее, а главное, мучило постыдное, глубоко упрямое: не только Толе, она и себе не признавалась, что боится ее самой, своей маленькой дочки... Боится?! – и внутри себя впервые отчужденно произнесла: Анны...

Анны, которая о неотвратимости знает заранее, чувствует ее, спокойно плывет ей навстречу... И значит, как-то принадлежит неведомой вышней силе, при мысли о которой Маше хочется сжаться.

...Уже в такси она вспомнила, что соседка Шура как раз в это время вполне может хлебрезать на детдомовской даче, и приуныла – ужасно не хотелось опять гоняться за призраком.

Но дверь, в которую Маша позвонила, сразу открылась и – как тогда, в первом, странном, проклятом телефонном звонке, – все сложилось. Открыв дверь и увидев ее – незнакомого человека, – Шура побледнела так, что Маша заметила это в полутьме коридора. Маша знать не могла, как часто Шура вспоминала ее, доверчиво и обреченно ступившую в мышеловку, и девочку, которую она выхватила на самой грани и унесла с собой.

– Чего... надо? – от неожиданности, от внезапного страха грубовато произнесла Шура. И сама смутилась, мысленно застыдила себя. – Вам кого?

Маша стояла, вежливо изучая кряжистую, с рябоватым лицом, пожилую женщину.

– Извините, не знаю вашего отчества, – сказала она. – Александра?

– Володимерна. – Шура дверь открыла пошире, живот подобрала. – Проходите, чего так стоять...

Дальше, в топтании на пороге, в обмене обрывистыми неловкими фразами, Шура вдруг поняла, что это ей посылается прощение. То самое, которого она мысленно перед сном частенько просила. И вот этого прощения она уже не упустит. Поэтому, энергично оборвав неловкие предисловия и разведфразы неожиданной гостьи, она сказала:

– Какое там отчество! Ты ведь Маша, прально? Вот. Идем-ка сюда, на кухню. Я каклеты кручу, извини. Вот тут сейчас краешек стола вытру, чаю попьем.

Маша села, и несколько минут они молчали, каждая готовясь к разговору. Шура суетливо убирала миску с фаршем, ставила на плиту чайник, резала остатки какого-то магазинного кекса.

– У меня тут ничо такого к чаю-то и нет...

– А я вот с пустыми руками... – это они сказали одновременно, и стало как-то легче, проще.

Шура поставила чашки и сама села за стол против Маши.

– Ну? – спросила она. – Как живете-то? Чего приехала?

Маша замаялась. Она не знала, с чего начинать. А спрашивать о главном вот так, с бухты-барахты...

– Я, понимаете... хотела немного расспросить вас, Шура... о родителях моей девочки. Ведь вы их хорошо знали?

– Родители – это красиво сказано! – усмехнулась Шура. – Уважительно. Родителей у нее мать была, Рита. Вот и все. Девка была – земля пухом – хорошая, добрая... обыкновенная. Ты, Маша, чего хотела-то? По сути? Прямо говори.

Но и тут Маша прямо сказать не могла. Не могла!

– Понимаете, – проговорила она, замаявшись, – девочка помнит сотни номеров телефонов наизусть... вот как Виктор Гюго – тот помнил номера всех фиакров Парижа.

– Бывает, – отозвалась Шура. – У меня дядька свистал всеми певчими птицами. Скажешь ему: дядь Фим, давай дрозда! И он как залье-ется, как расы-ы-ыплется... Ты бы и не отличила. А малиновкой как пел!..

И Маша уже не стала добавлять, что, глядя на незнакомого человека, ее дочь может назвать номер его телефона и дату рождения.

Запел-закипел чайник. Шура поднялась, стала засыпать из пачки заварку, наливать, подтирать разлитое. Обе молчали.

– А... отец?

– Да не было никакого отца.

– Я понимаю, – торопливо проговорила Маша. – Я не в том смысле, я же все понимаю, Шура. Просто... я хотела спросить: вы совсем ничего-ничего про отца ее не знаете? Совсем ничего?

– Почему? – удивилась Шура. – Он у всех тут на глазах бегал, Аркашка-то, рыжий. Ну вот, заварился. Давай, подставляй чашку. Я, знашь, завариваю, как меня узбеки учили. Тут много лет узбеки приезжали, дынями торговали на рынке, у меня останавливались. Хорошие люди. Научили толково заваривать. Я с тех пор не люблю хаплап... Душевный чай, он, знашь, свой характер имеет...

И когда уже Маша подумала, что ничего ей не соизволят рассказать, и чего ж она хотела, если сама крутится вокруг да около, – Шура произнесла решительно:

– Ну да, Аркашка Месин... Ладно уж. Я расскажу, пусть меня Рита покойная там простит. Он ведь мальчишка совсем, понимаешь? Нет? Этот отец, говорю, так называемый, когда Анюта родилась, сам пацаном был. Лет пятнадцать, ну по крайней мере шестнадцать ему было. Это ж какой скандал, а? представь? Гороно, районо, совращение малолетнего, всяка така грязь. Ну, сама понимаешь... Они ее топтали, топтали... кто токо косточки ей не мыл! Кто токо ноги об ее не вытирал! Библиотекарь в школе, ты, мол, культуру быта и книги должна детям несть, а ты – малолетнего своротила... Шла по улице, а вслед только что камнями не бросали... Я бы – спроси меня – от такого сраму повесилась бы. А она, Рита, крепкая в характере была. Самой же ей... н у, скока тогда было, не соврать?... лет тридцать шесть, да... Она, правда, тощенька така, носатенька... на вид совсем девчонка. Да как говорится, забыла скока тебе годков – в паспорт гляди! Главное же, мальчишка – дрянь. Ведь он и подворовывал, и потом с дружками киоски грабил. А сейчас, вона, за наперстки сидит.

– За что? – растерянно спросила Маша.

– Игра така, знашь? Наперсточник он.

– Нет, не знаю, – уныло, почти не слушая, отозвалась Маша. Она думала о том, какая наследственность, оказывается, ммм... пестрая... у ее девочки.

– Это ж игра така, в наперстки! Сидит хмырь, вокруг себя народ собирает, спрашивает – мол, под каким наперстком шарик? И пошел елозить обоими руками, наперстки туды-сюды возить. А дурачье курортное, лопухое, вокруг стоит и денежки свои спускает. И поделом, видать, лёгко заработано! Так Аркашка что: он сначала, когда маленьким был, всегда знал, как угадать с этими наперстками. Ходил-выигрывал. Ну и молчал бы. Но такой характер говенный и язык без костей. Я, грит, Ме-есин, я сын самого Ме-е-сина! Ну, его сначала просто измолотили – для острастки...

– Какого Месина? – спросила Маша недоуменно.

– Ну ты шо, не слыхала... артист такой есть, фокусник. Мысли чужие видит, гипноз насылает. Месин... Да я в газете про него недавно читала. Вроде он еще жив... А имя... Ой, забыла. Немецкое... Фольк, что ли... Да: Фольк Месин.

– Что-о?! – Маша подняла на Шуру глаза. – Вольф Мессинг?! – всплеснула руками и расхохоталась: – Господи, Шура, что за вздор!

– Эт почему это вздор? – обиделась Шура. – Он тут у нас два года подряд выступал. Артист Московской филармонии. «Психологические опыты» называлось. Мой Сема покойный даже на сцену поперся и потом говорил, все по правде, не мошенство. И этот Фольк взаправду угадал, что Сема велел ему пойти в третий ряд и у Михал Степаныча из кармана пачку «Явы» достать. Сам такой седой, лохматый. Прямо трясся весь, напрягался как...

– Но... при чем тут! Я не понимаю...

– А я тебе и говорю: Зинка-то ведь в то лето работала администратором Дома культуры. Баба она была видная, молодая, блондинка натуральная... Запала на артиста, бывает. И я тебе так и скажу – брюхо у нее примерно в то время и стало расти. Да и зачем бы ей надо мальчонку на такую неродную фамилию записывать? Видать, хотела похвастать перед людьми, подчеркнуть свое особо положение...

– Но... ему же всегда жена ассистировала! Я знаю, мне рассказывали...

– Ну, жена, жена, – насмешливо подхватила Шура. – Когда это мужика-то остановит? В этом деле, ты ж знашь, ежели красивая баба захочет, жена может круглые сутки с берданкой сторожить... а на минутку поссать отлучится, глядь, ему уже другая... ассистирует.

– Погодите, – пробормотала Маша. – Это что же получается... Что моя Нюта?..

«Что твоя Нюта, – жалостливо подумала Шура, – дважды блудное отродье».

Но сказать так прямо поостереглась. Вслух проговорила:

– А что, оно в народе как считается: незаконные-то, они завсегда красивыми да умными рождаются!

Маша сидела, сгорбившись, потрясенная и придавленная. Не притронулась ни к чаю, ни к кексу.

Сейчас вдруг она вспомнила историю своей подружки Леночки Зарядной, певицы Киевской оперы, которая хвасталась, как однажды ее, отбывавшую практику в Свердловской филармонии, попросили встретить поезд, в котором приезжал на гастроли уже гремевший повсюду таинственный Вольф Мессинг.

Как, подрагивая мелкими розами в руках, она стояла на перроне и ждала статного романтического волшебника... а из вагона вышел невысокий щуплый человек.

Она, конечно, виду не подала, сделала уважительно-восторженное лицо, а он рассмеялся, и сказал: «Ну, не великан, что поделаешь. Но, моя девочка, рано или поздно вы поймете, что не в росте счастье!»

И что ж теперь, думала Маша, как со всем этим управляться, с этими генами богатыми... с этим проклятым наследством?

А Шура наоборот, расправилась, будто освободилась. Речь ее потекла охотнее, оживленней:

– ...И что ж это, думаю, за родня така, что сиротку бросают на произвол, как говорится, рока! Херова эта родня! Даж и на похороны не приехали. Да и шут с ними, думаю. Справили мы сами поминки по Рите в их однокомнатной – вишь, тут рядом, на площадке. Ну, все честь по чести – я зеркала занавесила, стол накрыла, холодец застудила, пирог спекла с капустой. После похорон заехали сюда, выпили-поплакали с ее подружками, песни попели... Хорошо посидели. Ну а после – что? Взяла девчоночку к себе, пока туда-сюда дело выясняется. А куда было ее девать? Уложила с собой, вон, у стенки. Ночью просыпаюсь, чувствую – пусто рядом! Прислушалась – нет, и в уборной тихо, и на кухне! Свят, свят, куда ребенка черти утащили? Кинулась – моя дверь настезь, на площадке свет горит, и в ихней квартире – тоже. Я босая, на цыпочках – сердце бухает – вон из квартиры... Заглянула к ним – чуть не рехнулась от страха: стоит она, маленька, в чем душа только осталась... на тубарете, знач, перед зеркалом. Черный платок на пол скинула и стоит, внима-ательно так смотрит, будто внутрь заглядыват... Будто слушает кого там, внутри. Ой, лихо!.. Личико, знач, тако радостное, светлое, какого у детей вообще не видала... Водит-водит пальчиком по зеркалу, как человека рисует, и гладит там, гладит кого-то... И все левой рукой. Я тихо так, ласково, шоб не испугать, а то заикой еще станет, тихохонько зову: «А-а-ня-а... Аню-утка-а-а... Ты кого там увидала?» А она, даж не оборотясь, спокойно мне отвечает: «Маму...» Вот рассказываю сейчас, а меня мороз по коже дерет!

Тут Маша отчетливо вспомнила, как впервые занес Анатолий по высокой их лестнице на третий этаж легкую как перышко девочку. Как отперли дверь, вошли в квартиру, а Полина со счастливым лицом уже спешила из комнат, на ходу щелкая выключателями, всюду зажигая свет в первых сумерках. Чешская люстра «Снежок» удвоила освещение прихожей в старинном зеркале.

И вдруг безучастное личико ребенка вздрогнуло, затеплилось и, словно чудо увидела, девочка зачарованно прошептала:

– Зе-е-ер-ка-ло...

А Шура уже разговорилась совсем. Тяжесть, что давила ей на сердце эти два года, ушла, и она торопилась выговориться, опростать душу, хотела, чтобы Маша поняла ее и... смирилась.

– И вот тогда, извини уж, Мария, твердо я поняла, что не возьму ее. – Шура говорила быстро и горячо. – Нет! От греха, знашь, подальше. Кто она, чего там такого видит в зеркалах... Бабка моя была на селе Остер гадательницей, к ней многие ходили. Из Чернигова аж приезжали. Так она мне говорила – как увидишь, что человек левой рукой ест али крестится, – беги от того без оглядки. Это не божий промысел, а дьяволы забавы. Это он, леворукий, наплодил своих последышей...

Она взглянула на потерянную Машу, запнулась. И придержала язык.

После долгой паузы проговорила:

– А после той ночи девчушка есть перестала. Таяла, таяла... Будто Рита ее за собой тащила. Я уж была уверена – вслед уйдет. Пристроила ее на летнюю дачу, шоб хоть на людях померла, а то мало ли чё подумают на меня... Но вишь, как все обернулось. Видать, ей все ж положено пока здесь оставаться. Эт ведь никогда не угадаешь – какие там резоны, кому отойти, кому до старости лямку тянуть... Видно, бог ей тебя послал.

Она умолкла, подумала – чего бы еще душевного сказать этой бедной женщине, что сидит в такой тяжелой задумчивости, уставившись на бесполезно выставленный – теперь вот высохнет – кекс.

Хоть бы успеть еще каклеты нажарить со всей этой катавасией.

Шура отерла о фартук руки, вздохнула и добавила сурово и сочувственно:

– Теперь, знач, этот крест тебе нести!

Часть вторая

...Я получал от него множество писем. Как приятно видеть их в зеркале!..

Однажды в галерее Версаля случилось мне показать их господину маркизу де Мариньи. Тот пробежал глазами несколько строк без видимых усилий, и сказал: «Это написано левой рукой, и хорошо написано».

«И хорошо прочитано», – ответил я.[5 - Пер. К. Щербино.]

Анри Дюшен. Об учениках-амбидекстрах

7

...Я вырос между Европой и Азией.

Город Гурьев, дитя мое, стоит на реке Урал – о чем тебе, само собой, неизвестно, – прославленной гибелью Чапая. Вот краткая географическая справка времен моего детства. Гурьев – областной город Казахской ССР. Прикаспийская низменность, полуостров Мангышлак, нефть, газ и прочие роскошества. Поэтому в Гурьеве, в прошлом – купеческом, казацком и рыбопромышленном, а затем изрядно повибитом большевиками, – много было неместных «спецов», вроде моего отца.

Сразу после войны он вывез меня и маму из благодатной Жмеринки, чего ему, давно уже загадочно мертвому, не мог простить мой дед.

Отца с тремя колотыми ранами в груди и боку рыбаки выловили из Урала. Мне тогда было лет пять, ни черта не помню, но впоследствии вот это самое – прибежали в избу дети второпях зовут отца тятя-тятя наши сети притащили – мне нашей сердобольной учительницей разрешено было наизусть не учить.

Мама и потом отказывалась вернуться на Украину, говорила, что не может «покинуть Сашину могилу», хотя месяцами не появлялась на кладбище, и «Сашина могила» представляла собой на редкость унылое зрелище – как, впрочем, и остальные могилы.

Так, значит, спецы, да еще ссыльные, да те, кто убегал самостоятельно от советской власти в тьмутаракань... А она потому и «тьму», потому и «таракань», что курортом не назовешь. Бывшие степи Ногайского ханства – глина, камень, камыши... Климат неприветливый, летом до плюс пятидесяти, зимой до минус сорока. Снег – развлечение редкое. И зимой и летом ветер гонял песок...

Архитектура Гурьева тоже не поражала заезжего венецианца: на центральной улице – конечно же, Ленина – советские невразумительные постройки, окраины потом застроили блочными поганками «хрущоб»... А когда заряжали дожди, перед входом в каждое общественное здание выставлялись сваренные из железных листов большие корыта, наполненные глинистой водой. Из них торчали деревянные палки с прибитыми ошмотьями рогожи. Гражданам-товарищам предлагалось перед входом помыть обувь. Картина в стиле соц-арт: горком, скажем, партии, а перед ним – очередь из солидных мужчин, смывающих глину с галош. Из-за этого повсюду надо было являться загодя, даже в кино. Одним словом, жирная липкая глина казахстанской степи долгие месяцы удобряла нашу жизнь.

Но мы-то обитали в Жилгородке – а это, дитя мое, для всех прочих смердов был Лондон, Париж, Константинополь и бог знает что еще. Этот район строили для начальников пленные немцы. Дома были двухэтажные, из камня, с верандами, витражными окнами, колонками, балясинками и прочими архитектурными улыбками в стиле барокко. Дома-то все белые, обсаженные карагачиными аллеями... словом, Багдад.

Стоял наш Жилгородок у самой реки Урал, там же и парк был огромный, теми же немцами засаженный, впоследствии роскошный – в смысле танцев, аттракционов и летних турниров по шашкам под выросшими деревьями.

Но главным развлечением раннего детства были комары, вернее, ожесточенная их травля. Комаров травила специальная машина – как молоковозка, только вместо молока из ее цистерны извергались клубы ядовитого желтого дыма; и мы бежали за машиной, что ползла на малой скорости, – соревновались, кто дольше продержится в облаке чудовищной вони. Мы с Генкой Солодовым, ныне монахом Валаамского монастыря (того что за суровый устав называют еще Северным Афоном), держались дольше других.

Но я, собственно, о Европе и Азии.

Видишь ли, мост через реку Урал сначала был простой, понтонный – два грузовика с трудом разъезжались, – потом новый построили. А на перилах точнехонько посередине деревянный ромб прибит, разделенный вертикальной красной чертой. На одной половинке написано: «Европа» – и стрелка в нужную сторону. На другой половинке – «Азия», тоже со стрелочкой, для нерадивых школьников, вроде меня. Не ходите, дети, в Азию гулять. И вот дважды в неделю я по этому мосту перемещался на автобусе из Азии в Европу, а затем назад в Азию.

В Европе находилась музыкальная школа, где вечно пьяненький Николай Кузьмич обучал меня игре на фаготе.

Дыхания у него уже не хватало, курево проклятое выкоптило легкие, и когда из окантованного слоновой костью раструба вылетал очередной кикс, Николай Кузьмич, смущенно улыбаясь, вздыхал и говорил: «Эх! Раньше ссали – галька разлеталась! А теперь даже снег не тает...»

Подозреваю, некогда он жил другой, более достойной образованного человека жизнью – во всяком случае, первые сведения из истории деревянных духовых, если не считать сумбурных дедовских лекций, я получил из его подрагивающих рук.

Мы с ним вообще долго засиживались после уроков. В расписании он ставил меня последним, в семь тридцать, и занятия проводил в учительской – в школе

вечно не хватало свободных классов. Ну а после занятий чайку похлебать сам бог велел.

– Представь, пацан, нашего волосатого предка, – говорил Николай Кузьмич, подворачивая обтерханные рукава сорочки привычным хозяйственным жестом старого холостяка. – Пещерный житель, а к высокому тянулся! Выдолбил из дерева трубку, свистнул, удивился, просверлил отверстия... Вставил пищик в деревянный конус, и – вот вам нате! – появился предок гобоя...

Он осторожно вытаскивал кипятильник из бурлящего пузырьками вулкана, опускал в воронку смолистого чая два-три куска колотого желтого сахара и подвигал мне стакан в железном подстаканнике с вензелем «Курская железная дорога», сопровождая его пригласительным жестом.

– ...Фагот же – от итальянского слова «эльфаготто», что означает, извини уж, «вязанка дров», – он, конечно, чуть моложе, но все-таки один из самых старых деревянных духовых, примерно такой же, как гобой. Самый нижний голос в группе деревянных духовых, не считая видового контрфагота, но то вообще дрова...

Легкими, привычно любящими руками он поднимал из всегда открытого футляра свой инструмент – словно ребенка из люльки, – откинув, как одеяльце, широкий отрез вытертой замши. Никогда не забывал напомнить: «Копия Якоба Деннера!» И я видел, как вишневый фагот – еще не играя! – просыпался от прикосновения его рук.

– В каждой группе оркестра есть основа. Прямо как в жизни: на чем-то нужно стоять. У медяшек – бас-тромбон с квартвентилем или туба. Видал, когда идет военный оркестр, сзади несут огромное блестящее чучело? Это геликон, туба в походном варианте. В ударной группе бас – это литавры, большой барабан не в счет, у него высота неопределенная. Струнную группу держат виолончели с контрабасами. Ну а группу деревянных духовых вытягивает на себе фагот. Ты спросишь – почему не кларнет? Ведь тот переорет фагот за милую душу! А я отвечу тебе: потому что фагот – это бас, тесситура у него самая низкая...

С тех пор, сколько живу, никогда не видал более чувственного, любовного движения губ, чем то, каким Николай Кузьмич прикладывался к трости своего инструмента. И фагот разливался пространным речитативом. В этом душевно

стесненном «голосе ниоткуда» было вкрадчивое очарование безадресной грусти, ускользающее забвение себя, воспоминание о прошлом.

– Изумительно звучит на фаготе штрих две стаккато-две легато. Слышишь? Стаккато отчетливое, а легато лиричное, благородное... А теперь скажу тебе что-то крамольное. Душу фагота поняли только романтики. В их музыке кларнет спрашивает или утверждает. А отвечает – кто? Отвечает всегда фагот. И в первой октаве достигает – ты послушай! – такой теноровой выразительности, что плакать хочется... – и, отнимая тросточку от губ: – Фагот, пацан, – инструмент меланхолический...

Я забрел к нему случайно на весенних каникулах. Болтался по дворам один, тосковал по деду, который умер в феврале 53-го, не дожив до вонючей кончины Великого Пахана. Тебя еще не было на свете, малышка.

Тогда, впрочем, я не думал всеми этими словами, я был тринадцатилетний заброшенный паренек и просто оплакивал деда.

Я ведь тебе рассказывал, что это был за человек? Дед родился в 1890 году, и ни один из ужасов двадцатого века его не миновал. Вообще он был лучшим часовым мастером Винницкой области и всю жизнь прожил в Жмеринке, хотя это ни о чем не говорит. У него был очень глубокий, одинокий ум – ум, как дар; пристрастное отношение к людям – яркие симпатии, яркие антипатии, очень силуэтный внутренний мир, не каша; горькая ирония по любому поводу и острое чувство абсурда. Что-то в нем было селиновское...

При всем том и какая-то фольклорность в нем жила, всякие украинские поговорки, типа «за компанию та й жыд повисылся»; когда уставал со мной спорить, бросал коротко: «або грай, або гроши вертай», и, наконец, любимое, программное: «або полковник, або покийник».

За свою жизнь дед собрал отменную библиотеку; пристрастно, как только любители могут, разбирал классическую музыку (струнным предпочитал духовые) и говорил безукоризненным русским языком. В Жмеринке-то! И это при том, что даже в хедере он не доучился, вынужден был уйти, не сошелся характером с меламедом. Тот его бил – за вопросы.

И потом уже дед не обременил себя ни единой премудростью, вызубренной по готовым трактатам. К тому же, он должен был кормить младших сестер. Словом, это был высококультурный человек с тремя классами хедера, исполненный такой внутренней свободы, какой я не встречал впоследствии ни у кого – лишь у тебя, мое дитя.

Ну так вот, дед умер внезапно перед очередной поездкой в Гурьев, уже прибыв с узлами и ящиками в Киев, где обычно пересаживался на казахстанский поезд. Он каждую весну приезжал к нам с мамой – «подкормить моих казахстанских доходяг»: привозил мед в сотах от друга-пасечника и настоящие украинские яблоки.

На этих узлах он и умер в коммунальной квартире у давней приятельницы, уже одетый, чтобы отправиться к поезду, – в кожухе и своих знаменитых сапогах, снятых с убитого итальянского солдата. Когда-нибудь расскажу тебе историю этих сапог. Это надо делать руками.

Так что я с горя на три недели отвалил из школы – в лучших дедовских традициях, – ну а потом и каникулы подвернулись. И Усатый подох, и страна сотряслась и мучительно стала выхаркивать кровь и гной своей смертной беды... Но до деда уже было не дотянуться.

Я промерз, как собака, и, наткнувшись на кирпичный барак с незапертой дверью, вошел погреться. В темном коридоре пахло сыростью, но дверь с табличкой «Учительская» была приотворена, и там в желтой прорехе электричества жужжал закипающий чайник, тянуло дымком сигареты и божественным запахом, спутать который ни с чем, никогда и нигде, куда бы ни занесло меня до конца жизни, я не смогу.

Эх, дитя мое, – любите ли вы «помазай»? Нет, я хотел сказать – любите ли вы «помазай», как люблю его я?

А ведь ты можешь и не знать, что это такое. Объясняю. Вот приходишь ты в гости к Генке Солодову. Чем тебя угощают? Правильно, жареной картошкой. Иногда заправляют лучком, колбаской, сальцем. И вы это молча и дружно съедаете за минуту – прямо со сковороды, само собой. А на дне там прилипли зажарочки хрустящие, лучок, последняя шкварка мяса... И вот ты уже все-все отковырял, и осталась лишь мутно-золотистая лужица масла. Тогда ты

горбушечку-то рвешь на кусочки, крошишь, крошишь, вилкой или пальцем придавливаешь, чтобы пропиталась аж до изнанки, до спинки корочки... И вот это, дитя мое, и будет «помазай».

Я постучал и вошел. Точно: за столом сидел небритый мужик и доедал со сковороды жареную картошку. В электроплитке на столике дотлевала пепельная стружка спирали. Он на мгновение поднял голову, кивнул мне и сказал:

– Пацан, присоединяйся!

Так началась музыкальная моя карьера – с совместного «помазая». Николай Кузьмич меня и водочкой пытался угостить, но в те времена мне это было еще невкусно.

Потом головой вбок мотнул – на соседнем столе поблескивала хитрым кренделем завитая труба, – и спросил:

– Музыку любишь?

Сам он уже был порядком поддатый. Вот уж воистину: «Любишь ли ты музыку?»
– «Нет, барин, я непьющий»...

Я ответил:

– Ну, люблю. Он спросил:

– Пацан, ты еврей?

– Ну, еврей, – ответил я. Вообще-то еврей я частичный, но обозначиться никогда не уклонялся – из-за деда.

Тогда, сказал он, учись на фаготе.

– Почему? – спросил я.

И Николай Кузьмич доходчиво объяснил, что в деле скрипки и фортепиано от евреев уже в глазах рябит. А вот фагот от них пока свободен. Во всяком случае, в музыкальной школе города Гурьева. А жаль, ибо есть в легких этого народца звучная тоска, совершенно необходимая для извлечения из фагота настоящей музыки. Потому что настоящая музыка – это, пацан, настоящая тоска. Особенно когда дело касается фагота, который поет лишь о том, что было и вернуть невозможно. Сейчас продемонстрирую.

Словом, получилось все очень кстати, тем более, что остальные инструменты, нормальные и понятные, вроде фортепиано, были все заперты – каникулы же, – а единственный школьный потертый фагот с не кроющимися клапанами Николай Кузьмич как раз закончил ремонтировать.

И то ли «помазай» придал ему сил, то ли водочка влилась в нужные жилы, но в ту минуту, когда он взял фагот и приложил пухлые небритые губы к трости, в тот миг, когда в учительской возник и поплыл горько-медлительный, замшевый, темный голос фагота, я был пленен раз и навсегда, ныне и присно, я – старый деревянный духовой.

Тут же, не сходя с табурета, я получил первый урок над вытертой нашими корочками сковородой: устройство инструмента.

– Запоминай, пацан, и потом не говори, что лупцую ни за что: вот это – «сапог», вот «колено»; клапаны: три на крыле, и два на «сапоге»... Вот этот шнурок прикрепляется к балансиру и надевается на шею, тогда правая рука у тебя свободна... Да, главное: изогнутая металлическая трубка, вот эта, называется «эс». В нее вставляют раздвоенную тросточку. Мастерят ее так: два лепестка вытачивают из камышины, выдалбливают, шлифуют внутреннюю сторону, делают срез, складывают пополам... затем обматывают проволокой, вставляют в пробку. И эта пищалка – то, что всю жизнь тебе придется держать во рту... Обрати внимание на благородную конструкцию сего старинного инструмента: как желтизна слоновой кости на раструбе гармонирует с вишневой окраской корпуса... Фагот аристократичен, как граф Сен-Жермен. Его вытачивают из высокогорного боснийского клена, желтого, но красят вишневой краской и лакируют. Колебания температур и влажность – вот вечные наши враги. Так что лакируют морилкой. Древняя традиция тонирования дерева. Вот Грибоедов, классик наш, – он как пишет: «хрипун, удушенник, фагот»?.. Пацан, классик погорячился. Фагот, конечно, не прорежет оркестр, как, допустим, гобой или кларнет. Но с остальными инструментами своей группы сочетается идеально,

как многолетний супруг. Например, Чайковский, «Пиковая дама». Вступление. Фагот с кларнетом ведут тему в октаву. Какое сочетание тембров! Кровь стынет в жилах! Послушай...

Вязко, вкрадчиво и сумрачно пел фагот; за окном рябил неожиданный мартовский снег, потом он повалил вдруг густыми праздничными хлопьями.

В учительской топилась полукруглая печь, крытая серебрянкой и подпоясанная кинжальным бликом от законного фонаря.

Скорбно и внятно мне втолковывал что-то фагот родным голосом деда, которого я безуспешно искал повсюду, а нашел здесь, в кирпичном бараке музыкальной школы.

Я взмок от жары, волнения и любви, но свитер снять не решался, потому что дедовы брюки на мне были подтянуты по самые подмышки и подпоясаны старым дедовым галстуком.

Но я опять тебе надоем, бог с ним, моим несчастным гурьевским детством. Все это так далеко.

А близко, совсем близко и вокруг – так что из моего окна видна серая, как мокрый асфальт, доска Рейна, посреди которого лисьим хвостом вытянулся длинный островок, заросший буйной зеленью, – некий винодельческий городок, куда я угодил вполне случайно и куда мне теперь хочется затащить тебя.

Я ведь уже писал, что в октябре у меня выступление во Франкфурте – с Виндсбахским хором мальчиков? Карл Беренгер, руководитель хора, оказался молодчагой: устроил все лучшим образом. Я всегда бываю так пылко благодарен любому, пусть даже положенному мне комфорту и удобству – «гурьевское плебейство», называла это мама. А тут, ко всему прочему, Карл предоставил мне два свободных дня! Два райских свободных дня, которые я с собачьей преданностью лелеял в мечтах о тебе. Но – молчу. Понимаю – контракт есть контракт, и чикагский «Аудиториум-Театр» – не та контора, которой можно пренебречь... Я привык, что тебя вечно крадут у меня твои проклятые зеркала. Короче, сиротой остался. И почему-то захотелось выехать на волю, куда глаза глядят.

Маргарита, администратор хора, посоветовала съездить в Рюдесхайм, на родину рейнского виноделия – это недалеко от Франкфурта. Я взял машину и поехал.

Ты знаешь, что такое Германия в октябре, в солнечный день: высоченные своды синевы над головой, пастозные лепные облака, словно кто на синюю палитру щедро выдавил белил из огромного тюба; исполненная кротости плавная красота Рейна в крутых виноградных берегах, башни и башенки замков на желтовато-багряных склонах, блики солнца на черном сланце высоких крыш, на петушках церковных шпилей.

Я даже забылся от такой красоты. И все ехал и ехал мимо виноградников, ослепительно желтых полей цветущего рапса, вдоль опрокинутого к горизонту поля, посреди которого огромным пулеметом крутилась дождевальная установка, постреливая дымной водяной струей. Проехал нужный поворот, развернулся и с не меньшим удовольствием еще минут двадцать ехал обратно, с тем же полем, виноградниками и дождевальной установкой уже по левую руку.

Короче, приехал, оставил машину на городской стоянке, наобум бродил по улочкам, заглядывая в уютные пансионы и небольшие гостиницы. Честно старался выбрать что подешевле, но, как обычно, нравилось мне там, где подороже. Увы, мама была права: «гурьевское плебейство» всегда говорит во мне громче разумных соображений.

Мама была права и поэтому лежит на гурьевском кладбище, страшнее которого трудно что-либо представить. Это огромный участок: серая и сухая, иссеченная глубокими трещинами глина, без единого деревца, кустика, даже без травы. Одним словом, такыр.

Все оградки, кресты и металлические пирамидки красили у нас серебрянкой, в которую тут же въедалась пыль. Помню разграбленную и обшарпанную часовенку с вырванной половиной двойной двери, темные прямоугольники на стенах – от висевших прежде икон. И сколько глаз хватает – островки могил, кривые дорожки, железные пирамидки со звездами. Сколько их, дитя мое, сколько их – проклятых мест на земле...

Но – довольно стонов. О веселом.

Я бродил по веселому, гористому фахверковому городку в поисках дешевого пансиона, а мой блудливый глаз все косил на башню старинного Рюдесхаймского замка, непристойно дорогого.

Разумеется, именно там в конце концов я снял комнату, где мне и хотелось бы тебя обнять. Сейчас опишу подробно.

Отель (наш с тобой) переделан из замка и принадлежит семейству Бройер, которому, кроме того, еще принадлежат окрестные виноградники, винодельни и несчитанные винные лавочки. Они буквально купаются в вине, эта семейка, разливая его щедро повсюду и всем, как бывает только с продуктом изобильного домашнего производства. Я ожидал в роскошном холле, пока уберут комнату, что должны были мне показать, и девушка в национальном костюме – домотканая серая юбка, туго обтянутая кружевным лифом грудь, рукава фонариками – принесла бокал терпкого рислинга, который немедленно ударил мне в голову.

Я сразу представил, как ты, чуть гарцуя, сидишь у меня на левом колене – подсказка забулдыги Рембрандта с его некрасивой любимой Саскией; моя левая ладонь постанывает от тоски по твоему бедру – и мы по очереди отпиваем из бокала. Утехи покинутого старца. Если мы не увидимся в ближайшее время, я совсем зачохну.

За стойкой, великолепно оборудованной всей мыслимой электроникой, сидела загорелая немка, сверкающая крупными белыми зубами и такими же крупными жемчужными бусами – о, как они перекликались! На мой вопрос – когда платить за комнату, она махнула рукой и сказала: «Когда будет настроение!»

В анкетном листе отсутствовала графа для номера паспорта. Я указал на это. Немка весело спросила: «Зачем мне ваш паспорт?»

И всё: бесшумный лифт, свет, что возникает сам собой и сопровождает тебя по коридорам, комната, удобная, как перчатка на руку, большая ванная со всевозможными обольстительными приспособлениями, с черно-белым, шахматным, как на картинах малых голландцев, полом и таким же занавесом на глубоком арочном окне; зеркала – от высокого, напротив двери, до круглого увеличительного в ванной, явившего мохнатую медузу изумленного глаза – всё это было словно из моей мечты о «маленьком городке, остановке в пути».

Я немедленно разделся, набрал ванну и минут сорок всплывал и колыхался в пушистой пене, хватаясь руками за поручни по бокам. Выполз – разморенный, истекающий стонами о тебе, вытерся докрасна и рухнул в широченную белейшую постель, предназначенную для нас, для нас двоих. И проспал часа три, не слыша музыки из ресторана внизу, перебора колоколов, туристов, горляющих песни...

Словом, я провел два одиноких волшебных дня, исполненных только мыслями о тебе.

Несколько раз вспоминал твою губную гармошку – ту, с двумя пошлыми красотками в мутных эмалевых медальонах по краям. Однажды ночью проснулся от совершенно явственного сна: тараща глаза, ты фальшиво и старательно выдуваешь корявую «Лили Марлен». Приснилось, возможно, потому, что здесь бродит шарманщик с белой болонкой, энергично прокручивая через свою хрипатую шарманку фарш в виде донельзя обезображенной, но все же бессмертной «Лили Марлен».

Между прочим, дед напевал ее довольно часто во время работы. Помню этот его картонный стаканчик в глазу, легкое позвякивание часовых инструментов и помыкивание, интонационно очень точное. Немецкого дед не знал, но, само собой, знал идиш. Боюсь, что исполнял он ее на свой лад. Боюсь, что фрицам не понравилась бы эта песня в его исполнении.

И полдня я таскался за шарманщиком, подпевая по-своему, уже по-русски, то, что помнил, – в переводе Бродского, о котором, к сожалению, ничего не знал дед: «Воз-ле ка-зар-мы, в свете фо-на-ря, кружатся по-па-рно ли-и-истья сен-тя-бря... – (Боже, как трогательна эта его лохматая болонка – подвявшая астра на мостовой, сердце рвется от жалости!) – Ах, как дав-но у э-тих стен, я сам сто-ял, сто-ял и ждал те-бя, Ли-ли Мар-лен!...»

Но я должен описать тебе наше пристанище.

В коридоре, перед дверью в комнату, на стене прибиты вырезанные из дерева головы. Их макушки являют собой полочки, на которые хочется поставить бутылку.

Каждая голова что-нибудь символизирует – скорее всего, тип человеческого темперамента или особенность мировоззрения. К четырем даже дана подсказка – выбиты буквы на ребре полочки надо лбом: «Optimist» – круглые щечки, губы, растянутые в немом восторге, и прищуренные глазки идиота; «Pessimist» – печально поднятые брови, морщины вокруг опущенного рта, деревянный вислый нос. За ним следуют «Stoicer» – абсолютно непробиваемая тупая рожа, и «Choleriker» – этого резали с какого-то несчастного геморройника в период обострения: глаза на лбу, рот скошен к подбородку... жалко на парня смотреть. Есть еще явно женское круглое, в улыбке, лицо – вероятно, сангвиник, – и оскаленная, с торчащим зубом, старческая маска. Ипохондрик? Мизантроп? Или затесалась сюда какая-нибудь средневековая ведьма, уже осужденная на костер? А в углу над моей дверью чья-то бабья физиономия с блудливой полуулыбкой. Этой я подмигиваю, когда поворачиваю ключ в замке.

У колоколов и колокольчиков на четырехугольной, увитой плющом башне рюдесхаймского замка, звук не металлический, а скорее, стеклянный, челестовый, особенно, когда мелодия какой-то народной песни, оплетающей в полдень центр городка, поднимается на припеве и там замирает.

На башне флюгер – винная бочка, выкрашенная золотой краской. На бочке – оперенная стрела. На стреле сидит сойка.

В ресторане отеля музыка играет даже днем. В полдень прислуга раскрывает высокие стеклянные двери во внутренний, переплетенный виноградом двор, сноровисто расставляет столы и стулья, стелет скатерти, всплескивая ими, как крыльями. И рояль рассыпается беспечными мазурками и вальсами. А вечером к нему присоединяются флейта и скрипка.

Весь отель немудрёно завешан фотографиями – виноградники семейства Бройер во все времена года и во всех ракурсах. Ясно, что ничего красивее для хозяев не существует. Виноградники, виноградники в разных своих ипостасях; высокие рейнские берега, словно прочесанные гигантским гребнем, – нежно зеленеющие в мае, пламенеющие в сентябре. Черная графика голых виноградных лоз, иероглифы зимних ветвей на фоне заснеженного склона.

Гуляя, забрел в некий замок пятнадцатого века – он оказался музеем музыкальных механических инструментов, частная коллекция, которую лет пятьдесят собирал один энтузиаст-любитель (и, судя по всему, не бедный любитель).

Собственно, я заглянул от нечего делать во двор, увидел там группу русских туристов с переводчицей. Обрадовался оказии и воровато к ним прибился.

А замок прекрасен: подлинные, не вылощенные росписи на стенах, щербатые плитки пола, низкий сводчатый потолок подвала. Оттуда и началась экскурсия.

Она была продумала с немецким тщанием, до мелочей. Вел молодой экскурсовод с простодушным лицом романтика, ясными голубыми глазами, хорошей улыбкой и слабыми рыжеватыми усиками и бородкой, которые, вполне вероятно, отпустил по должности, соответственно стилю всей коллекции. Соответственно стилю и одет был: в залатанный на локтях сюртук, застиранную рубашку, брюки, засаленные на коленях. На голове нахлобучена потертая шляпа шарманщика.

Он переходил от одной пианолы к другой, от шарманки восемнадцатого века к напольным играющим часам, от музыкальных шкатулок разных форм и размеров к расписному играющему – стоит только опустить на него задницу – стулу, от механического пианино к гигантской виолоне, хитроумнейшего устройства, и так радостно, так изумленно первым заглядывал внутрь экспонатов, словно не водил здесь экскурсии, а только что сам наткнулся на это богатство – торжество человеческой смекалки, абсолютного слуха и механического гения.

Случилось у меня там нежнейшее свидание: я увидел точно такую музыкальную шкатулку, какая стояла на круглом столике, застланном вязаной салфеткой, в комнате тети Фриды в Жмеринке.

Глуховато полированная, красного дерева коробка с ключиком и рычажком на нижней панели. На изнанке откинутой крышки приклеен листок: «Фортуна. Юлії Генрихъ Циммерманъ. Лучшія музыкальныя шкатулки». И внизу шрифтом помельче: «Звучный и пріятный тонъ. Изящная отдѣлка. Прочная конструкція».

И совсем уже мелко понизу листка: «С-Петербургъ, Морская, 34».

Паренек напоследок завел все шкатулки; и, дребезжа, приседая старческими голосами, они окликали друг друга в старинной зале – пока не иссякли силы, то бишь завод. Какие все же прочные конструкции. А мы, моя радость?

Здесь и канатная дорога есть на вершину горы; я, любитель всех на свете аттракционов, купил билет, сел в железную люльку и поплыл вверх, оставляя внизу багряные ряды раскоряченных виноградных лоз.

О, плоды виноградной лозы!

Пьяные немцы, по моим наблюдениям, весьма просты, добродушны и любят подшутить по-дружески: подставить приятелю ножку, сбить с него черно-оранжевую кепку цвета любимой команды, или еще что-нибудь в этом остроумном роде.

Вечером Рюдесхайм оглашается хоровым пением маршей, гимнов и прочей народной – в смысле, всеобщей – музыки. Исполняется все это широкими громкими народными голосами вперемешку со взрывами невообразимого гогота, внезапного и пугающего. Словом, «Marschieren und Prabieren...»

Недели через три завершаю гастроли, и прилечу к тебе, куда позовешь. Только черкни – на любом наречии и лучше цифрами, чтобы я не спятил, – где тебя искать. Господи, я не видел тебя три месяца! И, детка, не завести ли наконец мобильный телефон?

А если... если... а, вот опять он шатается где-то поблизости и крутит свой перпетуум-мобиле, ручку старой шарманки, а болонка выкатывается у него из-под ног прямо в ноги туристам: «Ес-ли в о-ко-пах от стра-ха не умру... – это в невыносимо похоронном темпе вытягивается сладкой лапшой из музыкального ящика, – ес-ли мне снай-пер не сде-е-ляет ды-ру... Ес-ли я сам не сдам-ся в плен, то бу-дем вновь кру-тить лю-бовь с тобой, Ли-ли Мар-лен!»

С тобой, Лили Марлен!

Соскучился по твоей гармошке. Играешь ли ты на ней без меня, мое счастье?

Торговка семечками жила на углу Красноармейской и Жилинской, в квартале от Центрального стадиона, и в обычные дни торговала прямо из окна полуподвала. Свернутые из газеты и вдетые один в другой кульки лежали на земле.

У старухи во рту не было ни одного зуба, но она всегда жевала семечки, и шелуха пузырилась и шевелилась вокруг проваленного рта. Похожа была на мужика, что намылил подбородок и уже занес бритву – пену снять, но его отвлекли, и он так и ходит с намыленными брылами.

Семечки – отлично прожаренные, длинные черные клинышки – в народе назывались «конский зуб»; щелкать их можно было даже руками, в отличие от российских маленьких пузатых-масляных. Цена всенародная: десять копеек стакан.

Но в дни ответственных футбольных матчей старуха сидела на улице. К ней выстраивалась очередь, и тут уж не до кульков было: мужики торопились и подставляли карман.

Нюта с папой тоже покупали стакан «конского зуба», потому что если ты идешь на футбол, надо быть как все: грызть семечки, орать, свистеть в два пальца и выкрикивать фамилии и имена игроков. И о судье не забывать: его, конечно же, на мыло.

А иначе жизнь не в жизнь и радость не в радость.

У входа на стадион толпа растет, пухнет, напирает, захлестывает всю площадь, бьется волнами о кассы – каменные бочки с бойницами окошек.

Папа мгновенно забрасывает Нюту за турникет.

Но в дни чемпионатов, полуфинальных или финальных матчей он проносит девочку на плечах. Это называется «копки-баранки». Если народу тьма, и все возбуждены, и в воздухе прокатываются волны особого потно-опасного азарта, она сама просит: «Возьми на копки-баранки!».

Отец поднимает ее высоко, усаживает на плечи, и с высоты его огромного роста Нюте видны зеленое поле с воротами и трибуны под гигантскими прожекторами.

Между рядами с лотком наперевес ходят тетки: «А ось кому биляши-пирожки? – и, приоткидывая вафельное, с жирными пятнами полотенце: – Выбей, золотко, який на тэбэ дывыцца...»

Словом, на стадионе ужас как весело. Рев сотысячных трибун накатывает и спадает, колышется, в зависимости от того, как игра покатится... И Нюта честно «болеет», хотя всегда знает, с каким счетом закончится матч, и кому сейчас гол забьют, и кому судья назначит штрафной. Раньше она думала, что все это знают. Оказывается – нет, хотя ведь это просто: внутри лба, перед закрытыми глазами выкатывается вперед зеркальный тоннель, похожий на бумажный язык, который папа мгновенно сворачивает из тетрадного листа и с силой выдувает прямо Нюте в лицо. В конце зеркального тоннеля, как в калейдоскопе, возникает световой круг, где пульсируют цифры, или слова, или фигуры... а иногда просто молчащие картины...

Но едва дочь делает хитрые глаза и тянет:

– Матч зако-о-о-нчится со сче-етом... со сче-е-етом... сказа-а-ать?! – папа расстраивается. У него становится такое «уксусное» лицо, будто живот прихватило, будто он хочет, чтобы она замолчала на всю жизнь.

– Нет, не сказать! – отрезает он и отворачивается. Ла-адно... Помолчим...

То ли дело Фира Авелевна – вот кто совершенно спокойно, даже бесстрастно принимает все предсказания Нюты. Может, потому, что она – слепая старушка? И тоже болельщица.

«Фиравельна» – бабушка и глава большого колобродного семейства Гиршовичей в соседнем дворе, куда Нюта бежит дружить уже с полгода. Семья: дядя Жора, начальник цеха на заводе «Трансигнал» – петушок с задиристым тенорком, в затасканных трениках; его жена тетя Роза, младшая дочь Фиравельны, служит хирургической сестрой в госпитале; их племянница Соня, дочь-расстрелянной-сестры-Буси-благословенна-ее-память-чтоб-сгореть-всем-убийцам; старший сын их Боря, студент музучилища (инструмент – виолончель), и шестилетняя Ариша-косенькая – к ней, собственно, и бежит дружить Нюта.

Между прочим, Ариша тоже учится музыке, причем, на фортепиано, в школе у Машуты. И у нее, Машу-та говорит, аб-со-лют-ный слух!

Наконец, надо всеми, как племенной божок, – слепая Фиравельна, чтоб-она-была-нам-здорова-до-ста-двадцати...

Все живут в одной – правда, огромной – комнате разветвленной коммуналки. Борина виолончель небрежно привалена к стене в темном закутке общего коридора. Иногда она расчехлена и интимно, зазывно поблескивает румяным лакированным бедром.

Так на парижской улице Сен-Дени, расчехленные и заспанные, поблескивают лакированным бедром утренние проститутки, небрежно приваленные к стене.

Кроме Гиршовичей, в квартире живут еще разные интересные личности. Семья майора-алкоголика Пети. Его грозная жена Любовь Казимировна, судя по всему, лысовата: всегда у нее на голове берет, взбитый, как думка-подушка в уголке кровати. (Однажды Нюта столкнулась с ней в коридоре. Любовь Казимировна в байковом халате, из-под которого свисала ночная сорочка, стремительно летела в туалет: на голове сидел берет, умятый за ухом, как подушка.) По утрам Любовь Казимировна отправляет за молоком восьмилетнюю дочь Надю, и каждое утро из их комнаты разносится зычный трагедийный рев: «Опять?! Опять полбидона отпила?! Жлёкаешь, жлёкаешь молоко, что воду!»

В квадратной комнатке рядом с ванной живет чудной старик Фающенко, художник. Он даже летом ходит обмотанный шарфом, в войлочных женских полуботинках на молнии и в дамской каракулевой шляпке, словно приросшей к голове: его мелко-курчавые волосы в точности повторяют и словно продолжают завитки седого каракуля.

Как-то появился на кухне в старом кафтане с оторванным правым рукавом.

Дядя Жора спросил его: «Что за непонятный полупердин, товарищ Фающенко?»

И тот ответил: «Шо ж тут непонятного, Жорик. В эту руку мне холодно, а в эту, рабочую, жарко...»

Этой рабочей рукой художник Фающенко пишет роскошные картины, в основном голые. Иногда выйдет из комнаты – кисти в ванной помыть, а в приоткрытой щели вдруг как полыхнет парафиново-белым чья-то спина! И все время он

рыщет по городу в поисках очередной музыки.

Однажды привел паспортистку из ЖЭКа. Чернявенькая хохлушка, кровь с молоком, пила на кухне чай и застенчиво шептала мастеру: «Та шо вы, я ж нэ вмищуся у раму!»

А Фающенко гоготал и кричал: «Я умещу, я утисну! Сало не мнется!»

И втиснул. Создал серию обнаженных в стиле Рубенса и выставил их на продажу на Бессарабке. Весь ЖЭК неделю ходил смотреть эту выставку. Возле картин толпились поклонники настоящей живописи. Правда, паспортистку немедленно уволили за «аморальное поведение».

И наконец, в узкой длинной комнате за кухней живет загадочная Панна Иванна, бесподобно уродливая старуха с синевато отбеленной, туго натянутой кожей лица, являющей ужасный контраст кирпично-морщинистой шее. Панна Иванна строга, следит за чистотой на кухне и покрикивает, если кто окурок оставит. Уберите, кричит, мертвечиков!

Еще она сочиняет строгие приказы в стихотворной форме. Пишет их на половине школьного листа и приклеивает по углам квартиры. Над газовой плитой висит одно из давних ее грозных произведений, заляпанное масляными брызгами со сковород: «Кто захватит мои спички, тот получит по яичке!»

А дверь в это веселое сообщество открыта всегда. То есть она, в сущности, закрыта, но замок открывается обыкновенной копеечной монетой. Да чем угодно можно открыть эту дверь. Племянница Гиршовичей Соня, дочь-расстрелянной-сестры-Буси-благословенна-ее-память-чтоб-сгореть-всем-убийцам, открывает замок пилочкой для ногтей. А Нюта с Аришей однажды умудрились проделать это палочкой от «эскимо».

Панна Иванна говорила, что давным-давно в квартире помещались «номера». Что это значит, ни Ариша, ни Нюта не понимают, но над дверью каждой комнаты действительно прибиты старые заржавленные бляшки с выпуклыми цифрами.

Многолюдные Гиршовичи живут в той, над которой висит забеленная известью мутная табличка «Танцевальна зала». От прежних обитателей у них осталась козетка с крутой волной изысканного облупившегося подлокотника.

В огромной сорокаметровой кухне тоже, видимо, прежде то ли танцевали, то ли принимали гостей – в ней сохранился огромный резной буфет, весь увитый дубовыми листьями. На его полуразбитые стеклянные дверки Панна Иванна вешает стихотворные предупреждения: «Вам грозит больнична койка! Тут бордель, но не помойка!»

Но побаивались все не ее, а слепую Фиравельну. Побаяивались и уважали.

Когда майор-алкоголик Петя, вусмерть пьяный, не находил в себе сил доползти до туалета в конце коридора, но достигал кухни, он вынимал, как Фиравельна говорила, свою енэ майсэ и, покачиваясь, словно дитя баюкал, упоенно поливал пол с закрытыми глазами. Поскольку все были зрячие, смотреть на такого Петю никто не желал, и только Фиравельна выходила на журчащий звук и внимательно слушала, когда завершится процесс. За глаза она называла Петю шматой (тряпкой) из-за его безвольного характера. Подкаблучником считала.

– Ты выссался, Петя? – спрашивала она сурово. Петя приоткрывал глаза, видел лужу... К нему постепенно возвращались сознание и стыд.

– Выссался, Фиравельна, – сокрушенно говорил он.

– Тогда возьми большую шмату.

И боевой майор, проклиная водку, ползал с тряпкой по кухне.

Родилась она в местечке Емильчино, рядом с чешской колонией. Была старшей дочерью в семье и помогала отцу в его портняжном ремесле – тот посылал ее в колонию договариваться о заказах, делать расчеты, обмерять талии и груди. Там научилась она курить, постигла европейский стиль, переняла у чешек умение готовить и сверхъестественную опрятность, там же нахваталась чешских словечек и песенок. Когда бывало настроение, могла и напеть девочкам что-нибудь такое:

«Голки выбигалы, вулей купувалы, панты намазалы, абы не верзалы двирки у кумуру...»

Однажды эту песню Анна напела чеху-скрипачу, приятелю и коллеге Сени по Бостонскому симфоническому оркестру. Тот понял почти все и пришел в восторг. Песня переводилась, как утверждала Фиравельна, приблизительно так:

«Девки выбегали, масло покупали, смазывали петли, чтобы не скрипели двери той светелки...»

Религиозная в меру, Фиравельна в субботу ничего не делала, но если футбол случался, могла и нарушить святость дня. Если играли на Кубок или нашим светило золото, два дня постилась, как на Судный день. Правда, курить – курила. На Женский праздник всем бабушкам дарили фильдеперсовы чулки, а Фиравельне дети покупали подарочную коробку папирос «Три богатыря».

Она помнила фамилии всех футболистов киевского «Динамо», а также основных из московских ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Торпедо».

И когда после матчей толпа валила вниз по Жилианской, говорила Арише или Нюте:

– Выглянь в окно, спроси, какой счет. И те выглядывали и спрашивали. И им отвечали. Тут Нюте позволялось говорить все. И она говорила, и когда предсказанный ею счет совпадал с выкрикнутым, пересыпанным матерком и сдобренным выхарком на тротуар, Фиравельна удовлетворенно произносила:

– О! Так и есть, молодец. У нее мозги на месте, у этой прыгалки.

Она ослепла еще до войны – глаукома, – и лицо прикрывала косынкой или гипюровым шарфиком, стеснялась слепоты.

Ее часто навещали земляки. Беседа велась на идише, вполголоса; в это время Ариша с Нютой играли под столом в куклы. Наверху шелестел, курлыкал, подплакивал незнакомый язык, Ариша кричала время от времени: «Перевод!» Если очень надоедала, Фиравельна поддавала ей под столом на ощупь ногою.

Но любопытная и настырная Ариша все равно кричала: «Перевод!» – вместо того, чтобы отвечать принцу в руках Нюты, выйдет ли за него замуж юная дочь мельника.

Однажды Нюта сказала ей:

– Отстань от них. Говорят о ерунде: дети-внуки, зять – сволочь, Люся достала польские сапоги. И в медицинский принимают только гоев.

За столом наверху наступила тишина. Пожилой женский голос удивленно спросил:

– Она что, понимает идиш? Эта девочка?

И Фиравельна невозмутимо ответила с некоторой даже гордостью:

– Она понимает все!

Как царь Соломон, старуха давала советы, судила родственников, предсказывала события, выносила вердикты. Уходя, мужчины целовали ей руку. Спустя много лет Анна поняла – почему. Лицо было косынкой прикрыто, оставалась рука: благородство и изящество.

К гостинцам, которые ей приносили, Фиравельна не прикасалась, сразу отдавала детям. После того как она ослепла, патологическая аккуратность переросла у нее в особую брезгливость. Доверяла только Мане, своей старшей дочери, которая жила по соседству и каждый день приносила матери обед. Той дочери, у которой жила, Розе, доверяла не вполне: считала, что работающая женщина все делает хап-лап, нет у нее времени сосредоточиться на еде. Борщ Фиравельне готовили без капусты. Она знала, что в капусте червяки и надо промывать каждый лист, а дети рубили капусту цельным куском. И никогда не пробовала чужие котлеты или фаршированную рыбу – все, что нужно было месить или разделять руками. В чужие чистые руки она не верила.

Старухи-соседки завидовали и без зазрения совести говорили ей – умеют же некоторые устраиваться: дочка обеда каждый день таскает, зять выносит горшки, а сын ежемесячно посылает деньги. И как только некоторые исхитряются!

– А вы попробуйте ослепнуть, – с улыбкой советовала им Фиравельна.

К Нюте в этой семье относились хорошо, то есть не замечали ее, как не замечали своих. Крутится тут, ну и крутится...

Тем более, что большую часть дня Ариша с Нютой гоняли по двору.

Посреди огромного двора стояли гурьбой сараи, хранилища убогого барахла. Кое-кто из жильцов попроще держал в них кур, в одном жила на приколе остервенелая от одиночества и голода собака Лярва.

Но вскоре сараи снесли, и двор стал всеобщим: и для пятиэтажного дома, и для одноэтажного барака в глубине, и для трехэтажного, сплошь коммунального, где в подвалах, кладовках и бывших ваннных комнатах жило несчитанное количество народу.

Жильцы первых этажей разводили в палисадниках цветы: пунцовые георгины, майоры, бархатистые анютины глазки. Уютно и тонко благоухал вечерами куст мелкой чайной розы на углу. Деревце сирени с неказистыми бледными цветками излучало в мае запах, так густо заполнявший весь двор, что хотелось глубже дышать.

И дикий виноград опутинил дом цепко и жилисто. Однажды Боря, потеряв ключ, влез ночью по виноградным лианам в окно кухни. Хотя мог бы свободно открыть замок сурдинкой от виолончели.

А еще во дворе рос огромный каштан, весной обуянный сливочно-белым волнующим цветом: множество конусообразных свечек, слитых в плотную крону. Потом на ветвях выскакивали колкие плоды. Зелеными их хозяйки высушивали, клали в одежду, в муку – против жучков и моли.

К концу лета вся земля была усыпана треснутыми зелеными шишками, из которых конским глазом выглядывал лакированный каштан. Ариша с Нютой нанизывали их на нитку и бегали, увешанные ожерельями из каштанов.

И весь летний день в столбах солнечной пыли, среди гирлянд перевязанных жгутами проводов, среди помятых алюминиевых чайников, битых фарфоровых слоников и осколков старых пластинок, среди ящиков с дореволюционными «ятевыми» книгами, среди непарной стоптанной обуви, гнутых велосипедных спиц – во всей полноте цвела увлекательная чердачная жизнь. Какие волшебные

находки попадались там! Плакат «Какао Вань-Гутена»: в окошке меж распахнутых ставен сидел толстый бровастый дядька, оторопело улыбочивый, как Швейк. На нем надет сюртук, бабочка, феска с кисточкой на лысой голове. А в руке – чашка с надписью «какао Вань Гутена», из которой валил и валил, как дым из паровоза, кучерявый пар. «Я никогда не нервень, – было написано под картинкой, – и всегда в хорошемъ расположении духа, ибо с техъ поръ, какъ вмѣсто возбуждающаго кофе или чая пью къ завтраку только настоящій КАКАО ВАНЪ ГУТЕНЪ, мои мускулы крѣпнютъ, мое пищевареніе великолепно, и мои НЕРВЫ КРѢПКИ КАКЪ КАНАТЫ. Изъ 1 фунта 100 чашекъ».

В эти годы стали валом помирать инвалиды войны, и на чердаках все чаще попадались желто-розовые глянцевого конечности: Нюта нашла однажды правую ногу, почти целую, чуть выше колена, в зашнурованном отличном ботинке. Она явилась в нем домой: все же один – лучше, чем ничего? Отец хохотал, а Машута беззастенчиво вынесла его к помойке, хотя Нюта плакала и объясняла, что ботинок принадлежал героическому протезу. В конце концов они с Аришей похоронили протез вместе с ботинком на пустыре за школой.

В другой раз Ариша в куче тряпья откопала левую руку и там же, на чердаке, показала ребятам целый спектакль, якобы играя этой рукой на фортепиано. И наконец, в грудѣ снесенного кем-то хлама, была откопана инвалидная тележка из-под «самовара». Так называли совсем уже половинчатых людей-инвалидов, что передвигались на квадратной доске с подшипниковыми колесами. Тележка была настоящим сокровищем.

Нюта с Аришей немедленно побежали искать грандиозный крутейший спуск, чтобы не стыдно лететь, как на крыльях. Вот как зимой съезжали они с Батыевой горы на санках и в медных тазиках. Горящие на солнце желтыми, зеленоватыми и красноватыми бортами, эти медные тазики считались особым шиком.

Нюта поднималась к Ботаническому саду по гористой улице Толстого с тележкой подмышкой, а трусившая Ариша тащилась за ней хвостом, плаксиво повторяя:

– Нютка, ты чокнулась!.. Нютка, я все бабушке скажу, Нютка-а-а!

Но Нюта съехала! Легла животом на тележку, приказала Арише пнуть ее хорошенько, и – только ветер засвистел в ушах, загремели подшипники, набирая

и набирая ходу; крутилась перед глазами серая лента асфальта, звенел и скрежетал вокруг трамвайно-троллейбусный пестрый город, крики и визг летели вдогонку!..

И мало-помалу тележка замедлила ход, подшипниковые колеса уже не визжали, не рычали, а быстро-быстро тарабарили... бешеный круговорот в голове стал притормаживать, поплыл и замер...

Нюта огляделась, все еще распластанная на тележке, как лягушонок. Рядом кто-то громко проговорил:

– Так то ж нэ хлопэць! То дивка! Во, скажэнна!

Над ней стояли два парня, совсем взрослых. Один покрутил пальцем у виска, обескураженно глядя на Нюту. А второй сказал:

– Не-а, то нэ дивка! То кас-ка-дер!

А попала Нюта в эту бурлящую жизнь благодаря все той же Христине, которая получила от Маши и Анатолия уважительный карт-бланш на Нютино воспитание – после того как те потрясенно выяснили, что...

Но это событие заслуживает отдельного упоминания.

* * *

– Ма, а я могу теперь на пианине играть, – похвасталась однажды Нюта.

– На пианино, Нюточка, – рассеянно поправила Маша. Она раскладывала на столе приборы к обеду. Толя должен был вернуться из госпиталя с минуты на минуту, Нюта уже сидела за своей тарелкой. – А лучше говорить – «на фортепиано». Так правильней.

– Вот, смотри! – не слушая, отозвалась дочь и побежала пальчиками по скатерти, разбегаясь в разные стороны, трепеща оттопыренными мизинцами и сталкивая руки.

Ножа еще не хватает, отметила Маша и вдруг боковым зрением увидела две эти юркие детские руки, абсолютно синхронно вытворяющие на скатерти какие-то замысловатые па.

– У меня теперь две руки есть! – сообщила дочь, выколачивая только ей слышные звуки.

У Маши внутри что-то обвалилось и сразу взмыло. Она придержала на весу Нютину вилку с эмалевым цветастым попугаем на ручке, которую всегда привычно клала дочери «на левшинский лад», и с пересохшим горлом, неторопливо, не поднимая глаз, поменяла местами вилку и нож. И Нюта, продолжая болтать какую-то чепуху, машинально взяла нож в правую руку, будто делала это всю жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Пер. В. Соколова.

2

Пер. К. Щербино.

3

Месье, прошу вас, пачку «Дю Мурье» и «Фан дю Мوند» (искаж. фр.).

4

Простите, месье, нельзя ли сделать потише эту дерьмовую музыку? (искаж. фр.)

5

Пер. К. Щербино.

Купить: <https://telnovel.com/dina-rubina/pocherk-leonardo-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)